

100 великих романов

Йозеф РОТ

МАРШ
РАДЕЦКОГО



100 великих романов

Йозеф Рот

Марш Радецкого

«ВЕЧЕ»

1925

Рот Й.

Марш Радецкого / Й. Рот — «ВЕЧЕ», 1925 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-7647-1

Йозеф Рот (1894–1939) – выдающийся австрийский писатель, классик мировой литературы XX века. Стефан Цвейг писал, что у Йозефа Рота «была русская натура, я сказал бы даже, карамазовская, это был человек больших страстей» и «ему были свойственны русская глубина чувств, русское истовое благочестие». «Марш Радецкого» – это история трех представителей семейства фон Тротта, преданных слуг австрийской короны, история рухнувшего габсбургского мира, Австро-Венгерской монархии. Роман написан в реалистической традиции, но пронизан тонким юмором и иронией.

ISBN 978-5-4484-7647-1

© Рот Й., 1925

© ВЕЧЕ, 1925

Содержание

Роман-кенотаф	6
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	18
Глава третья	26
Глава четвертая	36
Глава пятая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Йозеф Рот

Марш Радецкого

© Ман Н., перевод на русский язык, наследники, 2018

© Клех И. Ю., вступительная статья, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Знак информационной продукции 12+

Роман-кенотаф



Роман Йозефа Рота (1894–1939) «Марш Радецкого» – книга печальная, как плач по дорогой сердцу утопии, приказавшей долго жить. При жизни и на глазах писателя исчезло с политической карты мира огромное государство – великая империя, просуществовавшая под разными обличьями и в различных форматах тысячу лет. Упраздненная Наполеоном Священная Римская империя германской нации пережила своего могильщика еще на целое столетие и кончилась вместе с императором-долгожителем Францем Иосифом как Австро-Венгрия, одряхлевшему телу которой любое омоложение конституции способно было помочь не больше, чем припарки. Австро-Венгерская империя представляла собой конгломерат (т. е. механическую смесь) приведенных к повиновению центральноевропейских народов, разорвавших в клочья шкуру состарившегося габсбургского медведя в результате Первой мировой войны, которую на Западе принято называть Великой войной.

Йозеф Рот был галицийским евреем и австрийским немецкоязычным писателем, сумевшим лучше других описать закат и гибель империи, которую он считал своей родиной. Огромный медведь оказался не настоящим, а чучелом, и все формы жизни в империи становились все более чучельными, омертвелыми, выморочными, а то, что еще оказывалось в ней живо, было обречено и обязано погибнуть, чтобы освободить жилплощадь для новых жильцов. В романе Рота царит отчуждение, его перо максимально нейтрально и безоценочно – и такое послевкусие остается от его письма, что впору повеситься, если такой была твоя страна и описанные в книге люди – это твои близкие.

Йозеф Рот был писателем с трагической судьбой, и оттого всем известный бравурный «Марш Радецкого» неотвратимо переходит у него в похоронный, а роман «Марш Радецкого» становится подобием кенотафа – символического памятника над пустой могилой его исторической родины. Переживший ее крушение писатель ясно сознавал, что пощады не будет для ностальгирующих «недобитков» вроде него в следующем действии трагедии, и предпочел умереть на пороге очередной, еще более «великой войны», затмившей предыдущую.

Австрийские писатели Цвейг, Музиль и Кафка, чех Гашек, венгр Йокаи и писавшие на польском Бруно Шульц и Юлиан Стрийковский очень по-разному воспринимали и описывали реалии этой канувшей центрально-европейской Атлантиды. Интересно, что механика чучельной реальности при закате и гибели великой империи описана Ротом *post factum* очень похоже на то, как это провидчески делал Белый в романе «Петербург». Великолепный и ослепительный австрийский «орднунг» был не в состоянии спрятать от глаз трупные пятна начавшегося разложения и близкого распада. Рот не поскупился на живописное изображение венского парада и казачьей джигитовки, экзотики галицийских еврейских местечек и уродливого гарнизонного быта. Более того, он не побоялся картин предпринятого австрийцами геноцида русинов-русофилов в начале войны, ничем не отличавшегося от зверств немецких нацистов и послужившего им примером. Полезное чтение для ностальгирующих по австро-венгерской утопии в *Mittel Europe*.

Неприкаянный апатрид и «святой пропойца» Рот незадолго до вступления войск вермахта в Париж, узнав о самоубийстве в США своего друга, писателя-антифашиста Э. Толлера, упал как подкошенный и скончался в лазарете для бедноты. Его наихудшие ожидания сбылись. Вот что написал о нем другой его друг – Стефан Цвейг:

«У Йозефа Рота была русская натура, я сказал бы даже, карамазовская, это был человек больших страстей, который всегда и везде стремился к крайностям; ему были свойственны русская глубина чувств, русское истовое благочестие, но, к несчастью, и русская жажда самоуничтожения. Жила в нем и вторая натура – еврейская, ей он обязан ясным, беспощадно трезвым, критическим умом и справедливой, а потому кроткой мудростью, и эта натура с испугом и одновременно с тайной любовью следила за необузданными, демоническими порывами первой. Еще и третью натуру вложило в Рота его происхождение – австрийскую, он был рыцарственно благороден в каждом поступке, обаятелен и приветлив в повседневной жизни, артистичен и музыкален в своем искусстве. Только этим исключительным и неповторимым сочетанием я объясняю неповторимость его личности и его творчества».

Красиво сказано. Остается только добавить, что и сам Цвейг не пережил следующего действия исторической трагедии и катастрофы европейской цивилизации, в далекой Бразилии приняв вместе с женой смертельную дозу снотворного. Чуть раньше умалишенная жена Рота погибла в фашистском концлагере, когда последний клочок некогда могучей и славной космополитической империи поглотил и переварил, не поперхнувшись, нацистский Третий Рейх. Так и получается, что наша «жизнь есть сон», а порой еще и исторический кошмар, от которого невозможно очнуться, но стоит попытаться.

Игорь Клев

Часть первая

Глава первая

Тротта были молодым родом. Их предок получил дворянство после битвы при Сольферино. Он был словенцем. Сиполье – название деревни, откуда он происходил, – стало его гербовым именем. К необыкновенному деянию был он предназначен судьбой. Но сам позаботился о том, чтобы имя его изгладилось в памяти потомства.

В битве при Сольферино он, в чине пехотного лейтенанта, командовал взводом. Уже полчаса как продолжался бой. В трех шагах от себя он видел белые спины своих солдат. Первая шеренга его взвода стреляла с колена, вторая – стоя. Все были бодры и уверены в победе. Они плотно поели и выпили водки за счет и в честь императора, который со вчерашнего дня присутствовал на поле битвы. То тут, то там один из цепи падал. Тротта спешил заполнить собой каждую образовавшуюся брешь и стрелял из осиротевшего оружия убитого или раненого. Он то сдвигал теснее поредевшую цепь, то снова растягивал ее, вглядываясь во все стороны стократно обострившимся глазом, вслушиваясь во все стороны напряженным ухом. Сквозь ружейный треск его чуткий слух улавливал редкие звонкие команды капитана. Острый взгляд проникал сине-серый туман перед линиями противника. Ни разу он не стрелял не целясь, и каждый из его выстрелов попадал в цель. Люди чувствовали его руку и его взгляд, слышали его призыв и чувствовали себя уверенно.

Противник сделал передышку. Необозримо длинную линию фронта обожала команда: «Прекратить огонь». То тут, то там еще щелкал шомпол, то тут, то там еще раздавался выстрел, запоздалый и одинокий. Сине-серый туман между фронтами слегка поредел. Внезапно все ощутили полуденное тепло серебряного, затуманенного, грозowego солнца. Тогда между лейтенантом и спинами солдат появился император с двумя офицерами генерального штаба. Он как раз собирался поднести к глазам бинокль, протянутый ему одним из сопровождающих. Тротта понимал, что это значит: даже если допустить, что враг отступает, его арьергард, несомненно, стоит лицом к австрийцам, человек же, держащий в руке бинокль, дает ему понять, что перед ним мишень, в которую стоит попасть. И эта мишень – молодой император. Тротта почувствовал, что у него останавливается сердце. От страха перед невообразимой, безграничной катастрофой горячий озноб пробежал по его телу. Его колени дрожали. Извечное негодование младшего фронтового офицера против высоких господ из генерального штаба, не имеющих понятия о горькой практике, продиктовало лейтенанту поступок, который навеки вписал его имя в историю этого полка. Он обеими руками надавил на плечи монарха, стремясь прижать его к земле. Лейтенант, видимо, надавил слишком сильно. Император упал тотчас же. Сопровождающие бросились к упавшему. В этот момент выстрел пробил плечо лейтенанта, тот самый выстрел, который предназначался сердцу императора. Пока тот поднимался, упал лейтенант. Повсюду, вдоль всего фронта, пробудилось суматошное и беспорядочное щелканье испуганных и вырванных из дремоты ружей. Император, невзирая на нетерпеливые просьбы своих спутников поскорее покинуть опасное место, верный своей царственной обязанности, склонился над распростертым лейтенантом, спрашивая лишившегося сознания и уже ничего не слышавшего, как его зовут. Полковой врач, санитарный унтер-офицер и двое солдат с носилками, согнув спины и опустив головы, галопом подбежали к ним. Офицеры генерального штаба сначала толкнули императора, затем сами бросились на землю. «Здесь, лейтенанта!» – крикнул император запыхавшемуся полковому врачу.

Между тем огонь снова стих. В то время как подпрапорщик, встав перед взводом, звонким голосом объявил: «Взводом команду я!» – Франц Иосиф и его спутники поднялись, сани-

тары бережно привязали лейтенанта к носилкам и все двинулись назад по направлению к полковому штабу, откуда виднелась белоснежная палатка ближайшего перевязочного пункта.

Левая ключица Тротта была раздроблена. Пулю, засевшую под самой лопаткой, извлекли в присутствии высших чинов, под нечеловеческий вой раненого, которого боль пробудила от обморока.

Тротта через месяц выздоровел. Когда он вернулся в свой южновенгерский гарнизон, он уже был обладателем капитанского чина, высочайшей из наград – ордена Марии-Терезии и дворянства. Отныне его звали: капитан Йозеф Тротта фон Сиполье.

Каждый вечер, перед тем как заснуть, и каждое утро, пробуждаясь от сна, словно его жизнь была подменена какой-то чужой, новой, сфабрикованной в мастерской, он твердил про себя свой новый чин и новое звание и подходил к зеркалу, желая убедиться, что лицо у него прежнее. Перед неуклюжей фамильярностью, при помощи которой его приятели пытались преодолеть расстояние, неожиданно положенное между ними неисповедимой судьбой, и своими собственными тщетными усилиями с привычной непринужденностью относиться к миру новоиспеченный дворянин и капитан Тротта явно терял равновесие. Ему казалось, что отныне он на всю жизнь обречен в чужих сапогах бродить по натертому паркету, провожаемый перешептыванием и встречаемый робкими взглядами. Его дед был еще бедным крестьянином, его отец – военным писарем, впоследствии жандармским вахмистром на южной окраине империи. Потеряв глаз в схватке с босняцкими контрабандистами, он стал жить в качестве инвалида войны и паркового сторожа при Лаксенбургском дворце, кормил лебедей, подстригал живые изгороди, весной охранял раkitник, а позднее – бузину от разбойничьих, злонамеренных рук, и в теплые ночи выметал бесприютные парочки с благодетельно укромных скамеек. Естественным и подобающим казался чин простого пехотного лейтенанта сыну жандармского унтер-офицера. Но для дворянина и отличенного капитана, разгуливавшего, как в золотом облаке, в чуждом, почти неуютном сиянии императорской милости, родной отец вдруг отодвинулся куда-то вдаль, и умеренная любовь, которую сын питал к старику, стала требовать иного образа действий, иных форм общения. В течение пяти лет капитан не видел своего отца, но зато каждую вторую неделю, придя после вечно неизменного обхода в караульное помещение, писал ему письмо при скудном и беспокойном свете служебной свечки, после того как, проверив караулы и отметив часы их смены, он вписывал в рубрику «Особые происшествия» такое энергичное и четкое «никаких», которое уже само по себе отрицало возможность особых происшествий. Как отпускные свидетельства или служебные записки, походили друг на друга и эти письма, написанные на желтоватой, волокнистой четвертушке бумаги, с обращением «милый отец», проставленным слева, в четырех пальцах расстояния от верхнего края и двух – от бокового, начинающиеся с краткого уведомления о благополучии пишущего, выражающие надежду на благополучие получателя и неизменно заканчивающиеся написанными с красной строки по диагонали от обращения словами: «с уважением Ваш преданный и благодарный сын Йозеф Тротта, лейтенант». Но теперь, когда благодаря новому чину уже не нужно нести караульной службы, ему, видимо, приходится менять рассчитанную на всю солдатскую жизнь форму письма и между нормированными строками вставлять необычные сообщения о ставших необычными обстоятельствах, которые и сам едва понимаешь. В тот тихий вечер, когда капитан Тротта впервые по выздоровлении присел к столу, изрезанному и исковырянному игривыми ножами скупающих мужчин, чтобы выполнить свой долг корреспондента, он понял, что никогда не двинется дальше обращения «милый отец!». Он прислонил неплодовитое перо к чернильнице и снял нагар с колеблющегося фитиля свечи, словно надеясь в ее успокоенном свете почерпнуть счастливую идею или подходящий оборот речи, и незаметно предался воспоминаниям о детских годах, о матери и кадетском корпусе. Он следил за гигантскими тенями, отбрасываемыми даже самыми мелкими предметами на голые, выкрашенные в синеваую краску стены, и за слегка согнутым, поблескивающим очертанием сабли, сквозь

рукоятку которой был продернут шейный платок, на крюке рядом с дверью. Он прислушивался к неумолимому дождю и к песне, барабнящей по жестяному подоконнику. Наконец он поднялся, решив на следующей неделе посетить отца, после обязательной благодарственной аудиенции у императора, на которую его должны были откомандировать в самые ближайшие дни.

Неделю спустя, сразу после аудиенции, которая длилась десять коротких минут, десять минут императорской милости, и десяти или двенадцати предписываемых церемониалом вопросов, ответы на которые, стоя навтыжку, следовало выпаливать не слишком громко, но решительно, как из ружья: «Так точно, ваше величество», – он поехал в фиакре к отцу в Лаксенбург. Старика он застал без мундира в кухне его казенной квартиры, за гладко обструганным непокрытым столом, на котором лежал темно-синий носовой платок с красной каймой, перед вместительной чашкой с дымящимся и благоухающим кофе. Сучковатая, красно-коричневая палка из черешневого дерева, крючком зацепленная за край стола, тихонько покачивалась. Полуоткрытый, морщинистый, туго набитый кожаный кисет с грубо натертым табаком лежал возле длинной трубки из обожженной и пожелтевшей глины. Капитан Йозеф Тротта фон Сиполье со своими блестящими аксельбантами, в лакированном шлеме, распространяющем некое подобие черного солнечного сияния, в тугих, до пламени начищенных, высоких сапогах с сверкающими шпорами, с двумя рядами блестящих, почти пылающих пуговиц на мундире, наделенный сверхъестественным могуществом ордена Марии-Терезии, стоял среди этой привычной бедной и казенной обстановки, как некий бог войны. Так стоял сын перед отцом, который медленно поднимался с места, словно желая медлительностью приветствия подчеркнуть блеск молодого человека. Капитан Тротта поцеловал руку отца, склонил голову пониже и принял поцелуи: один в лоб, другой в щеку.

– Садись, – произнес старик. Капитан отстегнул некоторые атрибуты своего блеска и сел. – Поздравляю тебя, – сказал отец обычным голосом с твердым немецким выговором армейских славян. Гласные прорывались у него, подобно грому, а окончания он как бы отяжелял маленькими гириями. Пять лет назад он еще говорил с сыном по-словенски, хотя юноша и понимал только немногие слова, а сам не мог произнести ни единого. Но сегодня обращение на родном языке казалось старику слишком большой интимностью по отношению к сыну, благодаря милости судьбы и императора так высоко над ним вознесшемуся; и капитан тщетно вглядывался в губы отца, чтобы приветствовать первый звук словенской речи, как нечто привычное и далекое, утраченное и родное.

– Поздравляю, поздравляю, – гроыхая, повторял вахмистр. – В мое время так скоро дело не делалось! В мое время нас еще жучил Радецкий!

«Все кончено!» – думал капитан Тротта. Отец отделен от него высокой горой военных чинов.

– Есть у вас ракия, отец? – произнес он, чтобы поддержать последний остаток семейной общности. Они пили, чокались, снова пили, после каждого глотка отец кряхтел, заходилась нескончаемым кашлем, багровел до синевы, сплевывал, медленно успокаивался и начинал рассказывать всевозможные истории из времен своей военной службы, с совершенно очевидным намерением умалить заслуги и карьеру сына. Наконец капитан встал, приложился к отцовской руке, принял отеческие поцелуи в лоб и в щеку, пристегнул саблю, надел кивер и пошел. С ясным сознанием, что видел отца последний раз в жизни...

Так оно и было. Сын писал старику обычные письма, иных видимых отношений между ними более не существовало – капитан Тротта освободился от длинного ряда своих крестьянских предков-славян. С него начался новый род. Округлые годы катились друг за дружкой, как хорошо пригнанные, мирные колеса. Сообразуясь со своим рангом, Тротта женился на уже не слишком молодой, но не бесприданной племяннице своего полковника, дочери окружного начальника в Западной Богемии, прижил с нею сына, вкушал размеренность здоровой офицерской жизни в маленьком городишке, ездил каждое утро верхом на плац-парад, после обеда

в кафе играл в шахматы с нотариусом, освоился со своим чином, сословием, своим достоинством и своей славой. Он обладал заурядными военными способностями и каждый год на маневрах заурядно проявлял их, был хорошим мужем, не доверял женщинам, не увлекался картежной игрой, был ворчлив, но честен на службе, заклятый враг всякой лжи, недостойного мужчины поведения, трусливой скрытности, многословных восхвалений и корыстных происков. Он был прост и безупречен, как его послужной список, и только гнев, иногда его охватывавший, заставил бы знатока людской породы почувствовать, что и в душе капитана Тротта темнеют глубины, в которых дремлют бури и неведомые голоса безыменных предков.

Он не читал книг, наш капитан Тротта, и втихомолку жалел своего подраставшего сына, который должен был вскоре столкнуться с грифелем, доской и губкой, бумагой, линейкой и таблицей умножения и которого уже дожидались неизбежные хрестоматии. К тому же капитан был убежден, что и его сын должен сделаться солдатом. Ему и в голову не приходило, что какой-нибудь Тротта (отныне и до скончания рода) может заниматься чем-нибудь другим. Будь у него два, три, четыре сына – все они стали бы солдатами, но его жена была хилая женщина, нуждалась во врачах и лечении, беременность угрожала ее жизни. Так думал тогда капитан Тротта. Поговаривали о новой войне; он каждый день был готов к ней. Более того, он был почти убежден, что ему предначертано умереть в бою. Его добросовестное простодушие считало смерть на поле битвы естественным следствием военной славы. До того дня, когда он с небрежным любопытством взял в руки первую хрестоматию своего сына, мальчику только что исполнилось пять лет, но домашний учитель из-за тщеславия матери раньше времени заставил его вкусить все горести учения. Он прочел рифмованную утреннюю молитву, в течение десятилетий она оставалась все той же, он еще помнил ее, прочел «Времена года», «Лису и Зайца», «Царя зверей». Потом раскрыл оглавление, увидел название отрывка, казалось, относившееся непосредственно к нему: «Франц Иосиф I в битве при Сольферино»; прочел и принужден был сесть. «В битве при Сольферино, – так начинался отрывок, – наш император и король Франц Иосиф I подвергся великой опасности». (Тротта сам фигурировал в этом отрывке. Но в сколь преображенном виде.) «Монарх, – стояло там, – в пылу битвы отважился прорваться так далеко вперед, что вдруг увидел себя окруженным вражескими всадниками. В этот миг величайшей опасности к нему подсказал юный лейтенант на взмыленном коне, размахивая саблём. Ого! Какие удары посыпались тут на головы вражеских всадников». И далее: «Вражеское копье пронзило грудь молодого героя, но большинство врагов уже полегло. С мечом в руках юный бесстрашный монарх мог уже легко отражать все ослабевающие нападения. Вся кавалерия противника была тогда взята в плен. А юный лейтенант – рыцарь фон Тротта было его имя – получил величайшую награду, которой наше отечество отмечает своих героических сынов: орден Марии-Терезии».

Капитан Тротта, с книгой в руке, пошел в маленький фруктовый садик, разбитый позади дома, где в прохладные дни работала его жена, и с побелевшими губами, тихим-тихим голосом спросил, знаком ли ей этот бесстыжий отрывок? Она с улыбкой кивнула.

– Это ложь! – крикнул капитан и швырнул книгу на мокрую землю.

– Но это ведь для детей, – мягко ответила жена.

Капитан повернулся к ней спиной. Гнев потрясал его, как буря слабое деревцо. Он быстро прошел в дом, его сердце стучало. В этот час он всегда играл в шахматы. Он снял саблю с вешалки, злым порывистым движением подпоясался и большими, гневными шагами вышел из дому. Тот, кто его видел, мог подумать, что он намеревается уложить целую роту врагов. В кафе, не проронив ни единого слова, с четырьмя глубокими поперечными складками на бледном, узком лбу под жесткими короткими волосами, он проиграл две партии. Злобной рукой отбросил застучавшие фигуры и сказал своему партнеру:

– Мне нужно с вами посоветоваться. – Пауза. – Со мной сыграли дурную шутку, – снова начал он, взглянул прямо на поблескивающие стекла очков нотариуса и тут же заметил, что

ему не хватает слов. Следовало взять с собой хрестоматию. С этой злополучной книгой в руках объяснение далось бы ему значительно легче.

– Какую шутку? – спросил юрист.

– Я никогда не служил в кавалерии, – капитан Тротта подумал, что так легче всего начать, хотя и сознавал, что понять его невозможно. – А эти бесстыжие писаки детских книг утверждают, что я на рыжем коне, на взмыленном коне, так и пишу, подскакал, чтобы спасти монарха.

Нотариус понял. Он знал сей отрывок по книгам своих сыновей.

– Вы придаете этому слишком большое значение, господин капитан, – сказал он. – Подумайте только, ведь это для детей.

Тротта испуганно взглянул на него. В этот момент ему казалось, что весь мир против него объединился: составители хрестоматий, нотариус, жена, сын, домашний учитель.

– Все исторические деяния, – сказал нотариус, – для школьного употребления изображаются иначе. Да это и правильно, по-моему. Детям нужны примеры, которые они в состоянии понять, которые им запоминаются. Подлинную же правду они узнают позднее.

– Счет! – крикнул капитан и поднялся. Он пошел в казарму, застиг дежурного офицера, лейтенанта Амерлинга, с барышней в комнате писаря, самолично проверил караул, приказал позвать фельдфебеля, вызвал для рапорта дежурного унтер-офицера, велел выстроить роту и распорядился начать «упражнение с оружием». Ему повиновались испуганно и смущенно. В каждом взводе не хватало одного или двух человек, и сыскать их не оказалось возможным. Капитан Тротта приказал сделать переключку. «Об отсутствующих сообщить при завтрашнем рапорте!» – сказал он лейтенанту. Команда, сопя, делала упражнения. Стучали шомполы. Взлетали ремни. Горячие руки громко шлепали по холодным металлическим стволам. Могучие, грузные приклады глухо стучали о мягкую землю. «Заряжай!» – командовал капитан.

Воздух дрожал от пустого шелканья холостых патронов. «Полчаса упражнений в стрельбе!» – снова выкрикнул Тротта. Через десять минут он изменил приказ: «На колени к молитве». Успокоенно прислушивался он к глухому стуку колен о землю – шлак и песок. Еще он был капитаном, хозяином своей роты! А этим писакам он уж покажет!

Сегодня он не пошел в казино, он даже не ел, он улегся спать. Спал крепко, без снов. На следующее утро на офицерском рапорте он кратко и отчетливо изложил свою жалобу полковнику. И тут началось хождение по мукам капитана Йозефа Тротты, рыцаря фон Сиполье, рыцаря правды. Прошли недели, пока из военного министерства пришло уведомление, что жалоба передана в министерство просвещения и культов. И снова прошли недели до того, как в один прекрасный день поступил ответ министра. Он гласил:

«Ваше высокоблагородие,

Глубокопочтимый господин капитан!

В ответ на жалобу Вашего высокоблагородия, касающуюся отрывка № 15 из хрестоматии, в соответствии с законом от 21-го июля 1864 г. разрешенной для австрийских народных и городских училищ, составленной и изданной профессорами Вейднером и Црдени, господин министр просвещения позволяет почтительнейше обратить внимание Вашего высокоблагородия на то обстоятельство, что помещаемые в хрестоматиях отрывки исторического содержания, в особенности же те, в которых непосредственно говорится о высокой особе его величества императора Франца Иосифа, а также и о других членах августейшей фамилии, согласно распоряжению от 21-го марта 1840 г., должны приспособливаться к пониманию школьников и наилучшим образом отвечать педагогическим целям. Данный отрывок № 15, упомянутый в жалобе Вашего высокоблагородия, был представлен на личное рассмотрение Его превосходительства господина министра культов и разрешен им для

школьного употребления. Высшие, равно как и подчиненные, управления школами считают необходимым представить для учащихся героические подвиги деятелей нашей армии в соответствии с характером, фантазией и чувствами подрастающего поколения, не отходя от правдоподобия описываемых событий, но и не передавая их в сухом тоне, исключающем всякую работу фантазии и возбуждение патриотических чувств. Принимая во внимание это, так же как и ряд других соображений, нижеподписавшийся обращается к Вашему высокоблагородию с почтительнейшей просьбой отказаться от представленной Вашим благородием жалобы».

Этот документ был подписан министром просвещения и культов. Полковник передал его капитану Тротта с отеческим советом: «Бросьте-ка эту историю».

Тротта принял его и промолчал. Неделю спустя он подал через соответствующие инстанции прошение об аудиенции у его величества; а через три недели, в полдень, он стоял во дворце, с глазу на глаз со своим императором.

– Видите ли, милый Тротта, – сказал император, – дело довольно неприятное, но нельзя сказать, чтобы мы оба много от него потеряли! Бросьте-ка эту историю!

– Ваше величество, – возразил капитан, – это ложь!

– Лгут вообще немало, – согласился император.

– Я не могу, ваше величество, – сдавленным голосом произнес капитан.

Император вплотную подошел к нему. Монарх был почти одного роста с Тротта. Они посмотрели друг другу в глаза.

– Моим министрам, – начал Франц Иосиф, – следует знать, что они делают. Я должен на них полагаться. Понимаете, милый капитан Тротта? – И, немного погодя: – Мы это поправим. Вы увидите.

Аудиенция кончилась.

Отец был еще жив. Но Тротта не поехал в Лаксенбург. Он вернулся в гарнизон и подал прошение об отставке.

Покинув армию в чине майора, он переехал в Богемию, в маленькое имение своего тестя. Император не оставил его своей милостью. Двумя неделями позже Тротта получил уведомление, что император распорядился выдать на учение сыну своего спасителя пять тысяч гульденов из своих личных средств. Одновременно последовало пожалование Тротта баронского титула.

Йозеф Тротта, барон фон Сиполье, мрачно, как обиды, принимал дары императора. Прусская кампания прошла без него и была проиграна. Он злобствовал. Виски его уже поседели, глаза потухли, его шаги стали медлительными, рука тяжелой, рот молчаливее, чем когда-либо. Хотя он и находился в цвете лет, но выглядел преждевременно состарившимся. Изгнан был он из рая простодушной веры в императора и добродетель, в правду и справедливость; замкнувшись в терпении и молчании, он начал подозревать, что на лукавстве держится мир, могущество законов и блеск величеств. Благодаря высказанному при случае желанию императора, отрывок № 15 исчез из хрестоматий империи. Имя Тротта сохранилось только в безгласных анналах полка. Майор продолжал жить как безвестный носитель рано отзвучавшей славы. В имении своего тестя он орудовал лейкой и садовыми ножницами, как его отец в дворцовом парке Лаксенбурга. Барон подстригал живые изгороди и выкашивал лужайки, весной охранял ракитник, а попозже бузину от разбойничьих и дерзких рук. Он заменял подгнившие планки в заборе новыми, гладко обструганными, чинил конюшенный инвентарь и упряжь, собственноручно взнуздывал и седлал гнедых, сменял проржавевшие замки на воротах и калитках, укреплял обдуманно и чисто выструганными подпорками пошатнувшийся кожевник, целые дни проводил в лесу, охотился за мелкой дичью, ночевал у лесника, заботился о курах, удобрении и урожае, фруктах и выющихся растениях, работниках и кучерах. Недоверчиво и ска-

редно закупал он необходимое. Костлявыми пальцами вынимал монеты из замшевого мешочка и снова прятал его на груди.

Он сделался бережливым словенским крестьянином. Иногда на него еще находил прежний приступ гнева и потрясал его, как буря слабое деревцо. Тогда он бил работников и лошадей, хлопал дверьми, разбивал замки, которые сам приладил, грозил поденщикам смертью и полным уничтожением, за обедом злобно отодвигал тарелки, отказывался от пищи и брюзжал. Рядом с ним жили, в отдельных комнатах, жена, слабая и болезненная; мальчик, которого отец видел только за столом и чьи отметки давались ему на просмотр дважды в год, ни разу не вызвав у него ни похвалы, ни порицания; тесть, весело проедавший свою пенсию, любитель девушек, неделями проживавший в городе и боявшийся своего зятя. Он был невзрачным старым словенским крестьянином, этот барон Тротта. Все еще, два раза в месяц, поздним вечером, при колеблющемся пламени свечи он писал письма своему отцу на желтоватой четвертушке бумаги, четыре пальца расстояния от верхнего и два от бокового края, с обращением «милый отец!». Ответы приходили очень редко. Правда, барон иногда думал о том, что следовало бы посетить отца. Давно уже он тосковал о вахмистре, скудной казенной обстановке, грубо натертом табаке и настоящей дома ракии. Но сына останавливали расходы, так же как останавливали бы его отца, деда и прадеда. Теперь он был ближе инвалиду в Лаксенбургском дворце, чем много лет назад, когда в свежем блеске своего нового дворянства сидел в выкрашенной голубой краской кухне и пил ракию. С женой он никогда не говорил о своем происхождении. Он чувствовал, что ее, принадлежащую к старому чиновничьему роду, от словенского вахмистра отшатнуло бы застенчивое высокомерие. Поэтому он и не приглашал отца. Однажды, это было в ясный мартовский день, когда барон пробирался по затвердевшим глыбам земли к управляющему, работник подал ему письмо из управления Лаксенбургского дворца. Инвалид скончался, мирно уснул в возрасте восьмидесяти одного года. Барон Тротта сказал только: «Пойди к госпоже баронессе, пусть уложит мой чемодан, я еду вечером в Вену». Он пошел своей дорогой к дому управляющего, осведомился о ходе сева, поговорил о погоде, распорядился, чтобы заказали три новых плуга, в понедельник пригласили ветеринара и еще сегодня повивальную бабку к беременной служанке. Прощаясь, он сказал:

– Умер мой отец. Я пробуду три дня в Вене, – небрежно протянул один палец и ушел.

Чемодан был уложен, лошадей запрягли в коляску; до станции езды было не больше часа. Он быстро съел суп и жаркое. Затем сказал жене:

– Хватит! Мой отец был хорошим человеком. Ты никогда его не видела. – Было ли то последним «прости»? Или то была жалоба?

– Ты едешь со мной! – обратился он к испуганному сыну.

Жена поднялась, чтобы упаковать и вещи мальчика. Пока она хлопотала на втором этаже, Тротта сказал ребенку:

– Теперь ты увидишь своего деда.

Мальчик задрожал и опустил глаза.

Вахмистр был уже обряжен, когда они вошли. Он лежал с взъерошенными огромными усами посреди своей комнаты на катафалке, в темно-синем мундире, с тремя блестящими медалями на груди, охраняемый двумя сотоварищами-инвалидами и восемью метровыми свечами. Монахиня-урсулинка молилась в углу, рядом с единственным, завешенным теперь окном. Инвалиды стали навтыжку, когда вошел Тротта. В майорском мундире, с орденом Марии-Терезии, он опустился на колени. Сын последовал примеру отца, его юное лицо очутилось прямо перед огромными подметками сапог покойника. Барон Тротта первый раз в жизни почувствовал тонкий, острый укол в области сердца. Его маленькие глаза остались сухими. В набожном смущении пробормотал он «Отче наш», раз, второй, третий, склонился над покойником, поцеловал могучие усы, кивнул инвалидам и обернулся к сыну: «Идем».

– Видел ты его? – спросил он на улице.

– Да, – сказал мальчик.

– Он был всего только жандармским вахмистром, – произнес отец, – в битве при Сольферино я спас жизнь императору, и потом мы получили баронство.

Мальчик ничего не ответил.

Инвалида похоронили на военном отделении маленького кладбища в Лаксенбурге. Шесть темно-голубых товарищей несли гроб от часовни до могилы. Майор Тротта в кивере и парадном мундире все время держал руку на плече своего сына. Мальчик всхлипывал. Печальная музыка военного оркестра, жалобное и монотонное духовное пение, слышимое каждый раз, как смолкала музыка, и тихо вздымающийся ладан причиняли ему непонятную, стесняющую дыхание боль. И оружейные выстрелы, которыми полувзвод отсалютовал у могилы, потрясли его своей долго не смолкавшей в воздухе неумолимостью.

Отец и сын поехали обратно. В пути барон все время молчал. Только когда они уже вышли из поезда и садились в ожидавшую их позади станционного садика коляску, майор промолвил:

– Не забывай его, твоего деда.

И снова принялся за свои привычные ежедневные дела, и годы опять покатались, как ровные, мирные, молчаливые колеса. Вахмистр был не последним покойником, которого пришлось схоронить барону. Он похоронил сначала своего тестя, несколько лет спустя жену, которая быстро и ни с кем не попрощавшись умерла от жестокого воспаления легких. Своего мальчика он отдал в пансион в Вене, решив, что сын никогда не станет кадровым военным. Он остался один в имении, в белом просторном доме, где еще чувствовалось дыхание покойной жены, разговаривал только с лесничим, управляющим, работниками, кучером. Все реже прорывался у него гнев. Но прислуга постоянно чувствовала его тяжелый кулак, и его злобная молчаливость, как тяжелое ярмо, ложилась на шеи людей. Перед его появлением воцарялась боязливая тишина, как перед близкой грозой. Два раза в месяц он получал почтительные письма от сына, один раз в месяц отвечал на них двумя короткими фразами на маленьких, узких клочках бумаги (полях, оторванных от получаемых писем). Раз в год, восемнадцатого августа, в день рождения императора, он в полной парадной форме отправлялся в ближайший гарнизонный город. Два раза в год приезжал в гости сын. На рождественские и летние каникулы. Каждый сочельник мальчику вручались три звонких серебряных гульдена, в получении которых он должен был расписаться и которые никогда не смел взять с собой, гульдены еще в тот же вечер попадали в шкатулку, стоявшую в комнате отца. Рядом с гульденами лежали школьные отметки. Они сообщали о старательном прилежании сына и его достаточных, хотя и умеренных способностях. Никогда мальчик не получал игрушек, никогда не получал карманных денег или книг, не считая обязательных учебников. Казалось, он ни в чем не ощущал недостатка. У него был опрятный, трезвый и честный ум. Его скудная фантазия не шла дальше желания по возможности скорей оставить позади школьные годы.

Ему было восемнадцать лет, когда отец в сочельник сказал:

– В этом году ты больше не получишь трех гульденов! Можешь взять девять под расписку из шкатулки. Будь осторожен с девочками. Большинство из них заражены! – И, помолчав, добавил: – Я решил, что ты станешь юристом. До этого у тебя есть еще два года. С военной службой дело терпит. Можно получить отсрочку до окончания курса.

Молодой человек, так же покорно принял девять гульденов, как и волю отца. Девочек он посещал редко, тщательно выбирал их, и у него оставалось еще шесть гульденов, когда он приехал домой на летние каникулы. Он попросил у отца разрешения пригласить друга.

– Хорошо, – несколько удивленно ответил майор. Друг явился почти без багажа, но с обширным ящиком красок, который не понравился хозяину дома. – Он художник? – спросил старик.

– И очень хороший, – отвечал Франц-сын.

– Чтоб он ни одной кляксы не смел сделать в доме! Пусть пишет пейзажи.

Гость стал писать, правда, вне дома, но отнюдь не пейзажи. Он писал на память портрет барона Тротта. Каждый день за столом он изучал черты хозяина.

– Что он на меня уставился? – спросил однажды барон.

Оба юноши покраснели и принялись внимательно разглядывать скатерть. Портрет все же был закончен и при прощании, уже в рамке, вручен старику. Он рассматривал его вдумчиво и с улыбкой. Перевернул, словно отыскивая на оборотной стороне те детали, которые могли быть упущены на лицевой, подходил с ним к окну, отводил подальше от глаз, разглядывал себя в зеркало, сравнивая с портретом, и, наконец, сказал:

– Где его повесить? – За много лет это было первой его радостью. – Можешь одолжить своему приятелю денег, если ему нужно, – шепнул он Францу. – Смотрите не ссорьтесь.

Этот портрет был и остался единственным когда-либо написанным со старого Тротта. Впоследствии он висел в комнате сына и занимал фантазию внука...

Покуда же он несколько недель продержал майора в странном настроении духа. Майор вешал его то на одну, то на другую стену, польщенно и благосклонно рассматривал свой жесткий, сильно выдающийся вперед нос, свой безбородый, бледный и узкий рот, худые скулы, как холмы выдававшиеся под маленькими черными глазами, и низкий, морщинистый лоб, полускрытый коротко подстриженными, щетинистыми и колючими волосами. Только теперь узнал он свое лицо и иногда вступал с ним в молчаливые диалоги. Оно пробуждало в нем никогда не посещавшие его ранее мысли, воспоминания, неуловимые, быстро расплывающиеся тени грусти. Ему понадобился портрет для того, чтобы понять свою преждевременную старость и свое великое одиночество; из раскрашенного холста струились к нему одиночество и старость. «Это всегда так? – спрашивал он себя. – Всегда это было так?» Время от времени он невольно стал ходить на кладбище, на могилу жены, рассматривал серый цоколь и белоснежный крест, даты рождения и смерти, высчитал, что она умерла слишком рано, и убедился, что не может точно вспомнить ее. Ее руки, например, он забыл. «Китайский винный камень», – вспомнилось ему лекарство, которое она принимала много лет подряд. Ее лицо? С закрытыми глазами он еще мог вызвать его в памяти, но оно быстро исчезало, расплывалось в красноватых кругах сумрака. Он стал кротким дома и во дворе, изредка поглаживал лошадь, улыбался коровам чаще, чем до этих пор, выпивал стаканчик водки и однажды написал сыну коротенькое письмо в неположенный срок. Его начали приветствовать с улыбкой, он в ответ благосклонно кивал головой. Пришло лето, на каникулы приехали сын и друг, старик отправился с обоими в город, зашел в трактир, выпил несколько глотков сливянки и заказал для юношей богатый ужин.

Сын сделался юристом, стал чаще наезжать домой, присматриваться к имению, в один прекрасный день ощутил желание управлять им, отказавшись от юридической карьеры. Он признался в этом отцу. Майор сказал:

– Слишком поздно! Ты не будешь ни крестьянином, ни помещиком! Ты будешь дельным чиновником, и ничего больше.

Это было решенным делом. Сын сделался чиновником полицейского управления, окружным комиссаром в Силезии. Если имя Тротта исчезло из рекомендованных хрестоматий, то оно не исчезло из секретных документов высших полицейских учреждений, а пять тысяч гульденов, дарованных от щедрот императора, обеспечивали чиновнику Тротта постоянное благосклонное внимание в поощрение неизвестных ему высших инстанций. Он быстро продвигался по службе. За два года до его назначения окружным начальником скончался майор.

Старик оставил неожиданное завещание. Так как нет сомнения, писал он, что из его сына не получится хорошего сельского хозяина, и так как он надеется, что Тротта, благодарные императору за его неизменные милости, добьются чинов и положения на государственной службе и в жизни будут счастливее, чем он, составитель этого завещания, то и решает в память

своего покойного отца, имение, много лет тому назад переведенное на его имя тестем, со всем движимым и недвижимым имуществом, передать в фонд военных инвалидов, наследникам же вменяется в обязанность только с наибольшей скромностью похоронить завещателя на том кладбище, где лежит его отец, и, если это не представит затруднений, вблизи от его могилы. Он, завещатель, просит отказаться от всякой помпы. Наличные деньги, пятнадцать тысяч флоринов с соответствующими процентами, находящиеся в банкирском доме Эфрусси в Вене, так же как и все прочие имеющиеся у него деньги, серебро, медь, равно как кольцо, часы и цепочка покойной матери, принадлежат единственному сыну завещателя, барону Францу фон Тротта и Сиполье.

Венский военный оркестр, рота пехотинцев, представитель кавалеров ордена Марии-Терезии, представитель южновенгерского полка, скромным героем которого был майор, еще способные маршировать инвалиды, два чиновника дворцовой и собственной его величества канцелярии, офицер военного министерства и один унтер-офицер, несший на увитой крепком подушке орден Марии-Терезии, составляли официальный похоронный кортеж. Франц-сын, тонкий, весь в черном, шел один. Оркестр играл тот же марш, что и на похоронах деда. Салюты, которыми на этот раз почтили покойника, были громче и дольше звучали в воздухе.

Сын не плакал. Никто не плакал о покойном. Все было сухо и торжественно. Никто не говорил речей на могиле. Неподалеку от жандармского вахмистра теперь лежал барон фон Тротта и Сиполье, рыцарь правды. На его могиле водрузили обыкновенный надгробный камень, на котором узкими черными буквами рядом с именем, чином и названием полка было выгравировано гордое обозначение: «Герой Сольферино».

Итак, от покойного осталось не намного больше, чем этот камень, отзвучавшая слава и портрет. Точно крестьянин весной прошел по пашне, а позднее, летом, след его шагов исчезает в изобилии пшеницы, которую он посеял. Королевско-имперский обер-комиссар Тротта фон Сиполье на той же неделе получил соболезнующее письмо от его величества, в котором дважды упоминались все еще незабвенные заслуги почившего.

Глава вторая

Во всей дивизии не было оркестра лучше, чем оркестр N-ского пехотного полка в маленьком районном городке Моравии. Его капельмейстер принадлежал еще к тем австрийским военным музыкантам, которые, благодаря удивительно точной памяти и всегдашней потребности в новых вариациях старых мелодий, в состоянии были каждый месяц сочинять новый марш. Все марши походили друг на дружку, как солдаты. Почти все они начинались с барабанной дроби, содержали в себе ускоренную, выдержанную в ритме марша вечернюю зорю, звучное веселье прелестных флейт и кончались громовым грохотанием литавров, этой веселой и скоропреходящей грозой военной музыки. Капельмейстера Нехваля от его коллег отличала не столько необыкновенная композиторская плодовитость, сколько энергичная и бодрая взыскательность, которую он вносил в занятия музыкой. Ленивую привычку других капельмейстеров – давать дирижировать первым маршем фельдфебелю музыкального взвода и только во втором номере программы браться за дирижерскую палочку, Нехваль почитал явным признаком начинающегося распада императорско-королевской монархии. Как только оркестр размещался на площади обычным полукругом и изящные ножки ветреных нотных пюпитров врезались в черную землю между булыжниками мостовой, капельмейстер уже стоял среди своих музыкантов, молча поднимая палочку из черного дерева с серебряным набалдашником. Все плац-концерты, неизменно разыгрывавшиеся под балконом господина окружного начальника, начинались с марша Радецкого. Хотя он и был так привычен оркестрантам, что они могли бы сыграть его среди ночи и во сне без дирижера, капельмейстер все же считал необходимым каждую ноту читать с листа. И каждое воскресенье, словно впервые репетируя марш Радецкого со своими музыкантами, он добросовестно поднимал голову, палочку и взор, устремляя то и другое и третье в сторону сегментов круга, всегда, казалось, нуждавшихся в его команде музыкантов, в центре которых он стоял. Суровые барабаны отбивали дробь, сладостные флейты свистели, заливались чудесные рожки. На лицах слушателей блуждала довольная мечтательная улыбка, в ногах быстро струилась кровь. Они стояли на месте, но думали, что уже маршируют. Девушки помоложе слушали затаив дыхание, с полураскрытым ртом. Мужчины постарше опускали головы и вспоминали о былых маневрах. Пожилые дамы сидели в соседнем парке и трясли маленькими седыми головами. И было лето.

Да, было лето. Старые каштаны против дома окружного начальника только утром и вечером шевелили свои темно-зеленые, богатые густые кроны. В течение дня они оставались неподвижными, дышали терпким дыханием, и их прохладная тень достигала середины улицы. Небо было неизменно голубым. Невидимые жаворонки беспрестанно пели над тихим городом. Иногда по его ухабистым мостовым, от вокзала к гостинице, грохоча проезжал фиакр с незнакомым седоком. Иногда цокали копыта парного выезда, везшего на прогулку землевладельца господина фон Винтернига, с севера на юг, по широким улицам, от его городского дворца к его необъятным охотничьим угодьям. Маленький, дряхлый и жалкий желтенький старикашка, в огромном желтом одеяле, с крошечным усохшим личиком, сидел господин фон Винтерниг в своем экипаже. Как жалкий кусочек зимы, проезжал он по тучному лету. На эластичных рессорах и бесшумных колесах с дутыми шинами, в лакированных, хрупких спицах которых отражалось солнце, катил он прямо из постели к своим загородным владениям. Большой дремучий бор и светлые зеленые перелески уже дожидались его. Обитатели города его приветствовали. Он не отвечал. Неподвижный, проезжал среди моря приветствий. Черный кучер отвесно вздымался в высоту, своим цилиндром почти задевая кроны каштанов, его гибкий кнут ласкал коричневые спины рысаков, и из закрытого рта через определенные промежутки времени вырывалось резкое щелканье, более громкое, чем цокот копыт, и похожее на мелодический ружейный выстрел.

В это время начинались каникулы. Пятнадцатилетний сын окружного начальника Карл Йозеф фон Тротта, ученик кавалерийского кадетского корпуса в моравской Белой церкви, воспринимал свой родной город как страну вечного лета; он был родиной лета, так же как и его собственной. На Рождество и на Пасху Карл Йозеф гостил у своего дяди. Домой он приезжал только на летние каникулы. Днем его приезда всегда бывало воскресенье. Такова была воля отца, господина окружного начальника барона Франца фон Тротта и Сиполье. Летние каникулы, независимо от того, когда они начинались в корпусе, дома наступали с субботы. В воскресенье господин фон Тротта и Сиполье был свободен от службы. Все утро, с девяти до двенадцати, он резервировал для своего сына. Ровно без десяти минут девять, четверть часа спустя после ранней обедни, юноша в парадной форме стоял у двери отцовской комнаты. Без пяти девять Жак, одетый в старую ливрею, спускался с лестницы и объявлял:

– Сударь, господин ваш батюшка идет.

Карл Йозеф еще раз одергивал мундир, оправлял португез, брал в руки шапку и, согласно правилам, прижимал ее к бедру. Появлялся отец, сын шаркал ногой, и этот звук разносился по тихому обветшалому дому. Старый Тротта открывал дверь и легким мановением руки приглашал сына пройти вперед. Юноша оставался неподвижным, как бы не замечая приглашения. Тогда отец проходил в дверь, Карл Йозеф следовал за ним и оставался стоять на пороге.

– Располагайся, – говорил немного спустя окружной начальник.

Только после этих слов Карл Йозеф подходил к креслу, обитому красным плюшем, усаживался напротив отца, сдвинув колени и положив на них шапку с вложенными в нее белыми перчатками. Сквозь узкие щелки зеленых жалюзи на темно-красный ковер падали тонкие полосы солнца. Жужжала муха, стенные часы начинали бить. Когда, звонко пробив девять раз, они смолкали, окружной начальник спрашивал:

– Что поделявает господин полковник Марек?

– Спасибо, папа, у него все благополучно.

– В геометрии все еще хромаешь?

– Спасибо, папа, несколько лучше.

– Книжки читал?

– Да, папа!

– Как дела с верховой ездой, в прошлом году они шли неважно.

– В этом году... – начал было Карл Йозеф, но его тотчас же прервали. Отец вытянул узкую руку, наполовину спрятанную в круглом блестящем манжете. Золотом сверкнула огромная четырехугольная запонка.

– Они шли неважно, сказал я. Это был просто... – Здесь окружной начальник сделал паузу и затем беззвучным голосом добавил: — ...Позор!

Отец и сын помолчали. Как ни беззвучно было произнесено слово «позор», оно еще реяло в комнате. Карл Йозеф знал, что после строгого отзыва отца следовало выдержать паузу. Этот отзыв надо было воспринять во всем его значении, продумать, усвоить, удержать его в уме и в сердце. Часы тикали, муха жужжала. Затем Карл Йозеф звонким голосом начал:

– В этом году с верховой ездой у меня обстояло гораздо лучше. Сам вахмистр частенько это отмечал. Похвальный отзыв я получил также и от господина обер-лейтенанта Коппеля.

– Это меня радует, – замогильным голосом произнес господин начальник округа. Он ткнул манжетой о край стола, задвигая ее таким образом в рукав; послышался легкий треск накрахмаленного полотна.

– Рассказывай дальше, – приказал он и закурил папиросу.

Это обычно служило сигналом, возвещавшим начало домашнего уюта. Карл Йозеф положил шапку и перчатки на маленький пюпитр, поднялся и начал повествовать о всех событиях последнего года. Старый Тротта кивал головой. Вдруг он произнес:

– Да ты ведь совсем большой, мой мальчик. У тебя ломается голос. Уж не влюблен ли ты?
Карл Йозеф покраснел. Лицо у него пылало, как красный лампийон, но он, храбрысь, не прятал его от отца.

– Значит, еще нет, – заметил окружной начальник. – Не будем отвлекаться. Рассказывай дальше!

Карл Йозеф глотнул воздуха, краска сбежала с его лица, ему сразу стало холодно. Он медленно продолжал свой доклад, прерывая его многочисленными паузами. Затем вытащил список книг из кармана и протянул отцу.

– Весьма благопристойное чтение, – заметил окружной начальник. – Теперь, пожалуйста, содержание «Црини».

Карл Йозеф пересказал драму, акт за актом. Кончив, он опустился на стул, усталый, бледный, с пересохшим горлом.

Украдкой он бросил взгляд на часы; было только половина одиннадцатого. Экзамен продолжится еще полтора часа. Старику могло прийти в голову испытывать Карла Йозефа по древней истории или германской мифологии. С папиросой в зубах он ходил по комнате, заложив левую руку за спину. На правой постукивала манжета. Солнечные полосы на ковре становились все ярче, лучи все сильнее били в окно. Солнце, должно быть, стояло уже высоко. Колокола начинали гудеть, они звучали совсем близко, словно раскачиваясь тут же за темными жалюзи. Сегодня старик спрашивал только по литературе. Он пространно высказался о значении Грильпарцера и порекомендовал сыну в качестве «легкого» каникулярного чтения Адальберта Штифтера и Фердинанда фон Зара. Затем он опять перескочил на военные темы, дежурство, военный устав часть вторая, состав армейского корпуса, численность полка и вдруг спросил:

– Что такое субординация?

– Субординация – это долг неперемного повиновения, – продекламировал Карл Йозеф, – которое каждый подчиненный в отношении к своему начальнику и каждый младший по чину...

– Стой, – перебил его отец, – так же как и каждый младший по чину в отношении старшего.

И Карл Йозеф подхватил:

– Обязан выказывать, когда...

– Как только, – поправил старик, – последние принимают командование.

Карл Йозеф облегченно вздохнул. Пробило двенадцать.

Только теперь, в сущности, начинались каникулы. Еще четверть часа – и до него донеслась барабанная дробь выступающего из казармы оркестра. Каждое воскресенье после полудня он играл перед казенной квартирой окружного начальника, представлявшего в атом городишке не более, не менее как его величество императора. Карл Йозеф стоял на балконе, скрытом густой зеленью дикого винограда, принимая игру военного оркестра за туш, играемый в его честь. Он чувствовал себя немного сродни Габсбургам, власть которых представлял и защищал здесь его отец и за которых ему самому некогда доведется идти на войну и на смерть. Он знал имена всех членов императорского дома. Он искренно любил своим по-детски преданным сердцем императора, который, как его учили, был добр и справедлив, бесконечно далек и очень близок и особенно благосклонен к офицерам своей армии. Лучше всего положить за него жизнь под звуки военной музыки и легче всего под звуки марша Радецкого. Проворные пули ритмично свистели над головой Карла Йозефа, его сабля блестела, с умом и сердцем, преисполненным очаровательной бойкости марша, он умирал на поле брани в дробном чаду музыки, и его кровь темно-красной узкой полоской струилась на яркое золото труб, на крошечную тьму литавров и на победное серебро рожка.

Жак, стоявший за его спиной, кашлянул. Следовательно, обед начался. Когда оркестр делал перерыв, из столовой слышалось тихое звяканье тарелок. Она была расположена как раз в середине первого этажа. Через две комнаты от балкона. Во время еды музыка слышалась издали, но отчетливо. К сожалению, она играла не каждый день. Музыка была красивой и полезной, она мягко и примиряюще обвивала торжественную церемонию еды, не допуская ни одного из тех досадных, кратких и жестких разговоров, в которые так часто пускался отец. Можно было молчать, слушать и радоваться. На тарелках чередовались узкие, уже поблекшие, золотые и синие полоски. Карл Йозеф любил эти полоски. Часто в течение года он вспоминал о них. Они, и марш Радецкого, и портрет покойной матери на стене (юноша уже больше не помнил ее), и разливательная ложка из тяжелого серебра, и рыбное блюдо, и фруктовые ножи с зубчатыми спинками, и крохотные кофейные чашечки, и хрупкие ложечки, тонкие, как стертые серебряные монеты, – все это вместе означало: лето, свобода, родные места.

Он отдал Жаку шинель, картуз и перчатки и направился в столовую. Старый Тротта вошел туда одновременно с ним и улыбнулся сыну. Фрейлейн Гиршвитц, домоправительница, вплыла немного погодя в воскресных серых шелках, высоко держа голову, с тяжелым узлом волос на затылке. На груди у нее красовалась огромная изогнутая пряжка, нечто вроде татарской сабли. Казалось, что она в латах и при оружии. Карл Йозеф запечатлел поцелуй на ее длинной костлявой руке, вернее,дохнул на эту руку. Жак отодвинул кресла. Окружной начальник знаком пригласил всех садиться. Жак исчез и через минуту снова появился в белых перчатках, которые придавали ему совершенно иной вид. Они заливали снежно-белым блеском его и без того белое лицо, без того белые бакенбарды, без того белые волосы. Но зато они превосходили белизной все, что на этом свете можно было назвать белым. Этими перчатками он держал темный поднос. На нем стояла дымящаяся суповая миска. Жак водворил ее на середину стола, осторожно, бесшумно и очень быстро. По заведенному обычаю, фрейлейн Гиршвитц начала разливать суп. Протягиваемые ею тарелки принимались осторожно, с благодарной улыбкой в глазах. Она, в свою очередь, улыбалась. Горячее золотое мерцанье плавало в тарелках; это был суп: суп с лапшой. Прозрачный, наполненный золотисто-желтой, тонкой, аппетитной, нежной лапшой. Господин фон Тротта и Сиполье ел с поспешностью, иногда с остервенением. Казалось, что он с бесшумной, благопристойной и проворной жадностью изничтожал одно блюдо за другим, вконец истреблял его. Фрейлейн Гиршвитц брала за столом крохотные порции, а после обеда, в своей комнате, снова ела весь обед по порядку. Карл Йозеф боязливо и поспешно подносил ко рту ложки, полные горячего супа, и проглатывал огромные куски мяса. Таким образом все они кончали есть в одно время. Никто не произносил ни слова, когда молчал господин фон Тротта и Сиполье.

За супом следовал коронный номер обеда, воскресное блюдо, из года в год подававшееся старому Тротта. Благоклонные обсуждения, в которые он пускался по поводу этого кушанья, отнимали времени больше, чем половина обеда. Взор окружного начальника сперва ласкал нежный слой жира, окаймлявший колоссальный кусок мяса, затем отдельные тарелочки, на которых покоились овощи: свекла с лиловым отливом, густо-зеленый шпинат, салат, веселый и светлый, суровый белый хрен, безупречные овалы молодого картофеля, которые плавали в растопленном масле и походили на хорошенькие игрушки. Он состоял в своеобразных отношениях с едой. Казалось, что наиболее примечательные куски он поедал глазами, его эстетическое чувство прежде всего поглощало сущность блюда, в известной мере его «духовную сущность», пустой остаток, попадавший затем в рот и в кишечник, не интересовал его и поглощался поэтому с великой поспешностью. Красивый вид кушанья доставлял старому Тротта не меньше удовольствия, чем его простая консистенция. Ибо он был сторонником так называемого бюргерского стола: дань, которую он платил своему вкусу, так же как и своим убеждениям (последние он называл старческими). Так он ловко и удачно сочетал удовлетворение своих желаний с высшими требованиями долга. Он был спартанцем. Но он был и австрийцем.

Старый Тротта приготовился, как и каждое воскресенье, к разрезанью «коронного номера». Он поглубже затолкнул манжеты в рукава, поднял обе руки и обратился к фрейлейн Гиршвиц:

– Видите ли, сударыня, еще недостаточно потребовать у мясника нежный кусок. Следует обратить внимание на то, как он разрублен. Я имею в виду поперечный и продольный разруб. В наши дни мясники больше не знают своего ремесла. Самое лучшее мясо можно испортить. Взгляните-ка сюда, сударыня. Не знаю даже, удастся ли мне его спасти. Оно распадается на волокна, попросту разлетается. В целом его можно назвать дряблым. Но отдельные кусочки окажутся жесткими, в чем вы не замедлите убедиться. Что же касается «приправ», как это называют уроженцы Германии, то в следующий раз мне бы хотелось, чтобы «мерретих», то бишь попросту хрен, был несколько суше. Он не должен терять в молоке свою остроту. И заправлять его следует только перед самым обедом. Он слишком долго был влажным. Ошибка!

Фрейлейн Гиршвиц, много лет прожившая в Германии, всегда говорившая на верхне-немецком наречии, – на ее любовь к литературным оборотам речи и намекал господин Тротта, говоря о «приправах» и «мерретихе», – медленно и тяжело кивнула. Ей стоило очевидных усилий отделить увесистый узел волос от затылка и заставить свою голову склониться в знак согласия. От этого ее старательная любезность получала какой-то оттенок чопорности. Казалось даже, что она не вполне соглашается. И окружной начальник почувствовал себя вынужденным заметить:

– Поверьте мне, я не ошибаюсь, сударыня.

У него был носовой, австрийский, выговор чиновников и мелких дворян, несколько напоминавший далекий звук гитар по ночам и последние легкие колебания уже затихающего колокольного звона. Это был выговор, мягкий, но определенный, нежный и в то же время ехидный. Он гармонировал с худым, костлявым лицом говорившего, с его узким, выгнутым носом, в котором как бы залегали звучные, несколько скорбные гласные. Нос и рот окружного начальника, когда он говорил, казались скорее духовыми инструментами. Кроме губ, ничто в его лице не двигалось. Темные бакенбарды, которые господин фон Тротта и Сиполье считал частью своей форменной одежды и которые должны были служить отличительными признаками его принадлежности к верным слугам Франца Иосифа I, а также доказательством его монархических убеждений, оставались неподвижными. За столом он сидел прямо, словно держа вожжи в костлявых руках. Когда он сидел, казалось, что он стоит, когда же он поднимался, его высокая и прямая, как свеча, фигура невольно поражала. Он одевался в темно-синее, зимой и летом, в праздник и в будни; темно-синий сюртук и серые полосатые панталоны, плотно облежавшие его длинные ноги и туго притянутые штрипками к блестящим высоким сапогам. Между вторым и третьим блюдом он имел привычку вставать и прохаживаться «для моциона». Но выглядело это так, словно он хотел продемонстрировать своим домочадцам, как можно подниматься, стоять и ходить, не утрачивая неподвижности. Жак, убирая мясо со стола, поймал беглый взгляд фрейлейн Гиршвиц, напоминавший ему, что оставшееся должно быть для нее разогрето. Господин фон Тротта размеренными шагами подошел к окну, слегка приподнял гардину и вернулся обратно к столу. В этот момент появились на большой тарелке вареники с вишнями. Окружной начальник взял себе только один, разрезал его ложкой и сказал фрейлейн Гиршвиц:

– Вот, сударыня, образец вишневого вареника. Он обладает нужной плотностью и в то же время тает на языке. – И затем, обратившись к Карлу Йозефу: – Советую тебе сегодня взять парочку.

Карл Йозеф так и сделал. Он проглотил их в мгновение ока, кончил еду на секунду раньше отца и выпил стакан воды (вино подавалось к столу только по вечерам), чтобы протолкнуть в желудок вареники, застрявшие в пищеводе. Затем он сложил свою салфетку одновременно со старым Троттой.

Они встали. Музыка играла вдали увертюру к «Тангейзеру». Под ее звуки все прошли в кабинет; впереди – фрейлейн Гиршвиц. Жак принес туда кофе. Там они поджидали капельмейстера Нехваль. Он вошел в момент, когда его музыканты внизу строились, чтобы идти в казармы, в своем темно-синем парадном мундире, с блестящим мечом и двумя искрящимися маленькими арфами на воротнике.

– Я в восхищении от вашего концерта, – произнес господин фон Тротта на этот раз, как и каждое воскресенье. – Сегодня он был из ряда вон выходящим.

Господин Нехваль поклонился. Он поел уже час тому назад в столовой офицерского собрания и с нетерпением ждал черного кофе; во рту у него еще оставался вкус обеда, он жаждал «Виргинии». Жак принес коробку сигар. Капельмейстер долго прикуривал от спички, которую Карл Йозеф упорно держал перед жерлом длинной сигары с риском обжечь себе пальцы. Все уселись в широкие кожаные кресла. Господин Нехваль рассказывал о последней легаровской оперетке в Вене. Он был светским человеком, этот капельмейстер. Дважды в месяц он посещал Вену. И Карл Йозеф подозревал, что в глубинах своей души музыкант таил немало тайн ночного полусвета. У него было трое детей и жена «из простых», но сам он, в отличие от своих близких, был окружен ярким сиянием светскости. Он курил и с хитрой миной рассказывал еврейские анекдоты. Окружной начальник их не понимал и не смеялся, но твердил: «Превосходно, превосходно!»

– Как поживает ваша супруга? – регулярно спрашивал господин фон Тротта. В течение многих лет предлагался этот вопрос. Он никогда не видел госпожу Нехваль, да вовсе и не хотел бы встретиться с женщиной «из простых», но, прощаясь, всегда говорил господину Нехвалю: – Передайте мой привет вашей супруге, хотя я и не представлен ей!

И господин Нехваль каждый раз обещал передать привет по назначению, заверяя, что его жена будет очень рада.

– А как поживают ваши дети? – спрашивал господин фон Тротта, всякий раз забывая, были у того сыновья или дочери.

– Старший учится хорошо, – говорил капельмейстер.

– Верно, тоже готовится стать музыкантом? – с легким пренебрежением спрашивал господин фон Тротта.

– Нет, – возражал господин Нехваль, – еще год, и он поступит в кадетский корпус.

– Ах, офицер, – замечал окружной начальник. – Правильно! Правильно! Пехота?

Господин Нехваль улыбался:

– Разумеется! Он мальчик способный. Может, со временем и в штаб попадет.

– Конечно, конечно, – говорил окружной начальник – Такое частенько случается. – Через неделю он все позабыл. Дети капельмейстера как-то не запоминались.

Господин Нехваль всегда выпивал две маленькие чашки кофе, не больше и не меньше. С сожалением раздавил он остаток «Виргинии». Надо было идти, а с сигарой в зубах не принято откланиваться.

– Сегодня концерт был из ряда вон! Великолепно! Передайте привет вашей супруге. Я, к сожалению, еще не имел удовольствия... – сказал господин фон Тротта и Сиполье.

Карл Йозеф шаркнул ногой. Он проводил капельмейстера до первого пролета лестницы. Затем возвратился в кабинет. Встал перед отцом и заявил:

– Я иду гулять, папа.

– Отлично, отлично! Приятных развлечений, – сказал господин фон Тротта и помахал рукой.

Карл Йозеф ушел. Он намеревался идти медленно, ему хотелось бродить, хотелось показать своим ногам, что и у них каникулы. Он весь напряжился, как говорят военные. Повстречавшись с первым солдатом, он зашагал строевым шагом. Так достиг он границы города – большого желтого здания казначейства, привольно жарившегося на солнцепеке. Навстречу ему

понесся сладостный запах полей, звонкое пение жаворонков. Синий горизонт с запада ограничивали серо-голубые холмы, вырисовывались первые деревянные хижины, крытые дранкой и соломой, голоса пернатых, как фанфары, прорезали летнюю тишину. Весь край спал, закутанный в день и свет.

За железнодорожной насыпью квартировал отряд жандармов, которым командовал вахмистр. Карл Йозеф знал его, вахмистра Слама. Он решил постучать. Вошел на веранду, постучал, дернул проволоку звонка – никто не отзывался. Распахнулось окно. Фрау Слама перегнулась через герани и крикнула.

– Кто там? – Увидев «маленького Тротта», она сказала: – Сейчас, – и открыла дверь в сени, откуда повеяло прохладой и слабым запахом духов. Фрау Слама сбрызнула платок несколькими каплями благовония. Карл Йозеф подумал о венских ночных увеселениях и спросил:

– Что, господина вахмистра нет дома?

– Он на службе, господин фон Тротта! – отвечала фрау Слама. – Входите, пожалуйста.

Теперь Карл Йозеф сидел в гостиной супругов Слама. Эта была красноватая, низкая комната, весьма прохладная; казалось, что сидишь в леднике; высокие спинки мягких кресел из коричневого мореного дерева были украшены резьбой и деревянными гирляндами листьев, которые больно врезались в спину. Фрау Слама принесла холодного лимонада и пила его маленькими глотками, оттопырив мизинец и положив ногу на ногу. Она сидела рядом с Карлом Йозефом, обернувшись к нему и покачивая обнаженной, без чулка, ногой, обутой в красную замшевую туфельку. Карл Йозеф смотрел на ногу, потом переводил глаза на лимонад. В лицо фрау Слама он не смотрел. Его шапка лежала на коленях, которые он держал плотно сжатыми; он сидел перед лимонадом, словно пить его было служебной обязанностью.

– Давно не бывали в наших краях, господин фон Тротта, – начала вахмистерша. – Вы очень выросли! Что, четырнадцать вам уже минуло?

– Так точно, уже давно. – Он думал о том, как бы поскорее уйти отсюда. Следовало залпом выпить лимонад, отвесить учтивый поклон, передать привет мужу и уйти. Он беспомощно взглянул на лимонад: никак с ним не управиться. Фрау Слама все подливала. Она принесла папиросы. Куренье было запрещено. Она сама зажгла себе папироску и стала небрежно посасывать ее, раздувая ноздри и покачивая ногой. Внезапно, ни слова не говоря, она взяла у него с колен шапку и положила ее на стол. Затем сунула ему в рот свою папиросу, ее рука слегка пахла дымом и одеколоном, светлый рукав летнего в цветах платья мелькнул у него перед глазами. Он вежливо докуривал папироску, на мундштуке которой еще ощущалась влажность ее губ, и не сводил глаз с лимонада. Фрау Слама снова взяла в зубы папироску и стала позади Карла Йозефа. Он боялся обернуться. Вдруг оба ее пестрые рукава очутились на его шее, а ее лицо зарылось в его волосы. Он не двигался. Но его сердце громко стучало. Великая буря разражалась в нем, судорожно сдерживаемая окаменелым телом и пуговицами мундира.

– Идем, – прошептала фрау Слама. Она уселась к нему на колени, быстро поцеловала его и состроила лукавые глаза. Белокурая прядь волос случайно упала ей на лоб, она скосила глаза и, вытянув губы, попыталась сдуть ее. Он начинал чувствовать ее вес на своих коленях, но в то же время новая сила наполнила его тело, напрягла мускулы на ляжках и на руках. Он обнял женщину и сквозь грубое сукно ощутил мягкую прохладу ее груди. Тихое хихиканье вырвалось из ее горла, оно походило на всхлипывание и немножко на щебет. Слезы стояли у нее в глазах. Затем она отодвинулась и с аккуратной нежностью принялась, одну за другую, расстегивать пуговицы его мундира. Она положила прохладную нежную руку ему на грудь и стала целовать его в губы, долго, с каким-то систематическим наслаждением. Потом вдруг вскочила, точно испугнутая внезапным шумом. Он тоже вскочил, она улыбнулась и, медленно пятясь, с вытянутыми вперед руками и запрокинутой головой, со светящимися глазами, повлекла его к двери, которую, не оборачиваясь, толкнула ногой. Они проскользнули в спальню.

В бессильном оцепенении видел он сквозь полузакрытые веки, что она раздевала его, медленно, старательно, с материнской заботливостью. С некоторым ужасом следил он, как, вещь за вещью, падала на пол его парадная форма, он услышал глухое паденье своих башмаков и тотчас же почувствовал на ноге руку фрау Слама. Новая волна тепла и холода поднялась снизу к его груди. Он упал. И принял женщину, как большую мягкую волну блаженства, огня и воды.

Он очнулся. Фрау Слама стояла перед ним и, вещь за вещью, подавала ему одежду; он стал поспешно одеваться. Она сбегала в гостиную, принесла шапку и перчатки. Она одергивала его мундир, он все время чувствовал ее взгляды на своем лице, но сам избегал смотреть на нее. Затем щелкнул каблуками так, что раздался треск, пожал ей руку, упорно глядя через ее правое плечо, и ушел.

На одной из башен пробило семь. Солнце приближалось к холмам, которые были сейчас такими же синими, как небо, и почти сливались с облаками. От деревьев, растущих по краям дороги, струился сладкий запах. Вечерний ветер расчесал траву по обе стороны улицы; видно было, как она трепетала и волновалась под его невидимой, бесшумной и широкой рукой. В дальних болотах заквакали лягушки. У открытого окна ярко-желтого пригородного домика сидела какая-то молодая женщина и всматривалась в безлюдную улицу. Карл Йозеф, хотя и видел ее впервые, поклонился ей молодцевато и почтительно. Она кивнула в ответ несколько удивленно и благодарно. Ему казалось, что он только теперь прощается с фрау Слама. Как пограничный пост между любовью и жизнью, стояла у окна эта неизвестная сообщница. Поздоровавшись с ней, он почувствовал себя возвращенным миру. Он зашагал быстрее. Ровно в три четверти восьмого он был дома и сообщил отцу о своем возвращении с бледным лицом, коротко и решительно, как подобает мужчине.

Вахмистр каждый второй день нес патрульную службу. Каждый день, с папкой документов, являлся он в окружную управу; сына окружного начальника он никогда не встречал. Каждый второй день, в четыре часа пополудни. Карл Йозеф отправлялся к жандармским казармам. В семь часов вечера он уходил оттуда. Аромат, который он уносил от фрау Слама, смешивался с запахом сухих летних вечеров и днем и ночью оставался на руках Карла Йозефа. Он старался за столом не подходить к отцу ближе, чем это было необходимо.

– Здесь пахнет осенью, – заметил однажды вечером старый Тротта. Он обобщал: фрау Слама неизменно душилась резедой.

Глава третья

Тот портрет висел в кабинете окружного начальника напротив окон и так высоко на стене, что волосы и лоб терялись в темно-коричневой тени старых деревянных сводов. Любопытство внука постоянно вращалось вокруг угасшего образа и отзвучавшей славы деда. Иногда, в тихие дни, когда окна стояли раскрытыми, темно-зеленые тени каштанов городского парка наполняли комнату сытым и могучим покоем лета, а окружной начальник проводил какое-нибудь дело вне города и по лестницам слышались похожие на поступь привидения шаги старого Жака, в войлочных туфлях, собиравшего по всему дому ботинки, платья, пепельницы, подсвечники и настольные лампы для чистки, – Карл Йозеф становился на стул и старался поближе рассмотреть портрет деда. Портрет распадался на бесчисленные тени и блики, на штрихи и мазки, на тысячи сплетений раскрашенного холста, расплывался в переливах засохшего масла.

Карл Йозеф спускался со стула. Зеленый отсвет деревьев играл на коричневом скюртуке деда, штрихи и мазки снова воссоединялись в знакомое, но непонятное лицо, глаза приобретали обычный, далекий, обращенный в темноту потолка взгляд. Каждый год во время летних каникул происходили эти беседы внука с дедом. Ничего не выдал покойник. Ничего не узнал юноша. От года к году портрет становился бледнее и потустороннее, словно герой Сольферино умирал еще раз, словно он медленно стягивал к себе свои воспоминания, и словно должно было прийти время, когда пустой холст, еще молчаливее, чем портрет, будет взирать на внука из черной рамы.

Внизу, во дворе, в тени деревянного балкона, на скамейке перед выстроенными в шеренгу, как солдаты, наваксенными сапогами сидел Жак. Возвращаясь от фрау Слама, Карл Йозеф всегда заходил во двор к Жаку и присаживался на край скамейки.

– Расскажите мне о дедушке, Жак!

И Жак, откладывая в сторону щетки, ваксу и гуталин, перед тем как начать говорить об усопшем, потирал руки, словно смывая с них грязь работы, и как обычно, как уже добрых двадцать раз, начинал:

– Мы с ним всегда ладили! Я пришел жить на двор уж далеко не молодым и никогда не женился: это не понравилось бы покойному, он недолюбливал баб, кроме своей фрау баронессы; но она рано умерла от легких. Всем было известно: он спас жизнь императору в битве при Сольферино, но сам ничего об этом не говорил, ни единым звуком не обмолвился. Поэтому они и написали у него на могиле «Герой Сольферино». Умер он совсем нестарым, вечером, часов около девяти, в ноябре месяце. Уже шел снег, днем он вышел во двор и спросил: «Жак, куда ты задевал мои сапоги?» Я их и в глаза не видел, но сказал: «Сию минуточку принесу, господин барон». – «До завтра дело терпит», – отвечал он, а назавтра они ему уже не понадобились. Так я и не женился!

Это было все.

Однажды (то были последние каникулы, в следующем году Карл Йозеф должен был быть произведен в офицеры) окружной начальник, прощаясь, сказал:

– Надеюсь, что все сойдет гладко. Ты внук героя битвы при Сольферино. Помни об этом, и с тобой ничего не случится.

Полковник, все учителя, все унтер-офицеры также помнили об этом, и, следовательно, с Карлом Йозефом и вправду ничего не могло случиться. Хотя наездником он был неважным, плохо успевал по топографии и совсем ничего не смыслил в тригонометрии, он все же прошел с «хорошим баллом», был произведен в лейтенанты и зачислен в N-ский уланский полк.

С глазами, пьяными от собственного нового блеска и от последнего торжественного обеда, с еще звучавшей в ушах прощальной речью полковника, которую тот произносил громовым голосом, в лазоревом мундире с золотыми пуговицами, с серебряным патронташиком

за спиной, украшенным гордым золотым двуглавым орлом, держа в левой руке шлем с чешуйчатыми ремешками и султаном, в ярко-красных рейтузах, лакированных сапогах со звонкими шпорами, при сабле с широкой рукояткой, предстал Карл Йозеф в один жаркий летний день перед своим отцом. На этот раз было не воскресенье. Лейтенант имел право приехать и в среду. Окружной начальник сидел в своем кабинете.

– Располагайся, – сказал он, отложив пенсне в сторону, прищурился, встал, внимательно оглядел сына и нашел, что все в порядке. Он обнял Карла Йозефа, они наскоро расцеловались.

– Садись, – сказал окружной начальник и, усадив лейтенанта в кресло, стал прохаживаться по комнате. Он обдумывал подходящее начало. Упреки были бы на этот раз неуместны, а с одобрения начинать нельзя. – Тебе следовало бы, – сказал он наконец, – заняться историей твоего полка, а также ознакомиться с историей полка, в котором служил твой дед. Мне нужно на два дня съездить в Вену по служебным делам, ты будешь меня сопровождать. – Затем он позвонил. Жак не замедлил явиться. – Пусть фрейлейн Гиршвитц, – приказал окружной начальник, – распорядится, чтобы подали вино и, если еще не поздно, приготовили говядину и вареники с вишнями. Сегодня мы обедаем на двадцать минут позднее, чем обычно.

– Слушаюсь, господин барон, – сказал Жак, взглянул на Карла Йозефа и прошептал: – Поздравляю от всей души.

Окружной начальник отошел к окну, сцена угрожала сделаться трогательной. Он слышал, как за его спиной сын подал руку слуге. Жак зашаркал ногами и пробормотал что-то нечленораздельное о покойном господине. Обернулся он, только когда Жак уже вышел из комнаты.

– Сегодня жарко, не так ли? – начал старый Тротта.

– Так точно, папа!

– Я думаю, нам лучше пойти на воздух.

– Так точно, папа!

Окружной начальник взял трость из черного дерева с серебряным набалдашником, вместо желтой тростниковой, с которой любил прогуливаться в ясные утра, и перчатки он натянул, а не взял, как обычно, в левую руку. Затем надел котелок и вышел из комнаты, сопровождаемый сыном. Медленно, не обмениваясь ни единым словом, шли они среди летней тишины городского парка. Полицейский отдал им честь, мужчины приподымались со скамеек, приветствуя их. Рядом с томной важностью отца звенящая пестрота юноши казалась еще более блистательной и шумной. В аллее, около белокурой девушки под красным зонтиком, продававшей содовую воду с малиновым сиропом, старик задержался и сказал:

– Не вредно будет выпить что-нибудь освежающее.

Он заказал два стакана без сиропа, с тайным удовлетворением наблюдая белокурую барышню, которая, казалось, безвольно и сладострастно утопала в ярком блеске Карла Йозефа. Они выпили и пошли дальше. Время от времени окружной начальник взмахивал тростью, это должно было выражать известное, умеющее держать себя в границах высокомерие. Хоть он и был молчалив и серьезен, как обычно, но сыну он казался почти что веселым. Из его недр иногда вылетало самодовольное покашливание, нечто вроде смеха. Когда ему кланялись, он быстро приподнимал шляпу. Были моменты, когда он даже отваживался на смелые парадоксы, вроде: «И вежливость бывает обременительной». Он предпочитал произнести смелое слово, чем обнаружить радость, встречаясь с удивленными взглядами прохожих. Когда они снова подошли к воротам дома, он остановился, обернулся лицом к сыну и сказал:

– В молодости я тоже охотно бы стал солдатом. Но твой дед категорически запретил это. Теперь я доволен, что ты не сделался чиновником.

– Так точно, папа! – отвечал Карл Йозеф.

К обеду подавалось вино. Говядина и вишневые вареники тоже успели. Фрейлейн Гиршвитц появилась в воскресных серых шелках, но при виде Карла Йозефа тотчас же утратила почти всю свою строгость.

– Я очень рада за вас, – произнесла она, – и от души желаю вам счастья.

– Желать счастья – значит поздравлять, – прокомментировал окружной начальник. И они принялись за еду.

– Ты можешь не торопиться, – сказал старик. – Если я буду готов раньше, я немного подожду.

Карл Йозеф поднял глаза. Он понял, что отец все годы отлично знал, как трудно было поспевать за ним. И впервые ему почудилось, что сквозь панцирь старика он заглянул в его живое сердце, в сплетение его тайных мыслей. Карл Йозеф, хотя и был лейтенантом, покраснел.

– Спасибо, папа, – сказал он. Окружной начальник продолжал торопливо есть. Казалось, он ничего не слышал.

Двумя днями позднее они сели в поезд, идущий в Вену. Сын читал газету, старик просматривал служебные бумаги. Один раз окружной начальник взглянул поверх своих бумаг и сказал:

– В Вене мы закажем парадные рейтузы, у тебя только две пары.

– Спасибо, папа.

Они продолжали читать.

Им оставалось каких-нибудь четверть часа до Вены, когда отец захлопнул папку с делами. Сын тотчас же отложил газету. Окружной начальник посмотрел в окно, затем на секунду остановил взгляд на сыне. Внезапно он сказал:

– Ты ведь знаешь вахмистра Слама? – Имя это ударило в мозг Карла Йозефа, как зов далекого, ушедшего времени. Он тотчас представил себе дорогу, ведущую в жандармские казармы, низкую комнату, капот в цветочках, широкую и пышную постель, вдохнул аромат лугов и аромат резеды, исходивший от фрау Слама. Он прислушался. – К несчастью, он в этом году овдовел, – продолжал старик. – Очень печально. Жена умерла от родов. Тебе следует его навестить.

В купе вдруг стало невыносимо жарко. Карл Йозеф попытался ослабить воротник. Покуда он тщетно старался найти подходящие слова, нелепое, горячее, ребяческое желание заплакать поднялось в нем, сдавило ему горло, во рту у него пересохло, словно он в течение многих дней томился жаждой. Он чувствовал взгляд отца, напряженно всматривался в пейзаж за окном и, ощущая близость цели, навстречу которой они неуклонно мчались, как обострение своей муки, хотел выйти, хотя бы в коридор, и в то же время понимал, что ему никуда не убежать от взгляда отца и от сообщенной им вести. Тогда он быстро собрал случайные, слабые силы и сказал:

– Я навещу его.

– Похоже, что ты плохо переносишь езду по железной дороге, – заметил отец.

– Так точно, папа!

Безмолвный и неподвижный, под тяжестью муки, которой он не умел подыскать названия, которой раньше не ведал и которая была как загадочная болезнь из неведомых краев, ехал Карл Йозеф в гостиницу. Ему удалось еще сказать: «Pardon¹, папа». Затем он заперся в комнате, раскрыл чемодан и достал бювар, где лежало несколько писем от фрау Слама, в тех же конвертах, в которых они пришли, с шифрованным адресом: «Моравский Вейскирхен, poste restante»². Голубые листки были цвета неба и чуть-чуть пахли резедой, а изящные маленькие буквы летели по ним, как стаи ласточек. Письма умершей фрау Слама! Они казались Карлу Йозефу предвестниками ее внезапной кончины. На последнее письмо он не ответил. Производство в чин, речи, прощанье, торжественный обед, определение в полк и новый мундир потянули все свое значение рядом с невесомыми, темными очертаниями крылатых букв на голубом фоне. На его коже еще оставались следы ласкающих рук ныне умершей женщины, и в его

¹ Простите (фр.).

² До востребования (фр.).

собственных теплых руках еще таилось воспоминание о ее прохладной груди; с закрытыми глазами он еще видел блаженную усталость на ее сытом любовью лице, открытый алый рот и белый блеск зубов, лениво согнутую руку; в каждой линии тела – отблеск безмятежных грез и спокойного сна. Теперь черви ползали по ее груди и бедрам и зеленое тление пожирало ее лицо. Чем ярче становились отвратительные картины разложения, возникавшие перед глазами юноши, тем сильнее разжигали они его страсть. Она росла и, казалось, достигала непостижимой безграничности тех сфер, в которых сгинула умершая. «Верно, я больше не пошел бы к ней, – думал лейтенант. – Я забыл бы ее. Ее слова были ласковы, она была матерью, она любила меня, она умерла!..» Ясно было, что он виновник ее смерти. На пороге его жизни лежал труп. Труп его возлюбленной...

Эта была первая встреча Карла Йозефа со смертью. Матери своей он не помнил. Ничего не знал о ней, кроме могилы, грядки цветов и двух фотографий. И вот смерть, как черная молния, сверкнула перед ним, ударила в его невинные радости, спалила его юность и швырнула его на край таинственных пропастей, отделяющих живое от умершего. Итак, перед ним простиралась долгая жизнь, исполненная печали. Бледный и решительный, он готовился претерпеть ее, как-то подобает мужчине. Он спрятал письма. Запер чемодан. Вышел в коридор, постучал в комнату отца, вошел и, как сквозь толстую стеклянную стену, услышал голос старика:

– Похоже, что у тебя мягкое сердце. – Окружной начальник опрашивал свой галстук перед зеркалом. Ему предстояло побывать в городской управе, в департаменте полиции и в верховном суде империи. – Ты поедешь со мной! – сказал он.

Они поехали в парном экипаже на резиновых шинах. Улица казалась Карлу Йозефу праздничнее, чем когда-либо. Широкая волна летнего золота текла по домам и деревьям, трамваям, прохожим, полицейским, по зеленым скамейкам, памятникам и садам. Слышался быстрый звонкий цокот копыт по мостовой. Молодые женщины проскальзывали мимо, как нежные, светлые тени. Солдаты отдавали честь. Витрины сверкали. По улицам большого города мягко веяло лето.

Но все красоты лета ускользали от безразличного взора Карла Йозефа. В уши ему ударяли слова отца. Старик отмечал сотни перемен. Перемещенные табачные лавки, новые киоски, удлиненные омнибусные линии, перенесенные остановки. Многое выглядело в его время по-другому. Но ко всему исчезнувшему, так же как и ко всему сохранившемуся, льнула его верная память, его голос с тихой и необычной нежностью подбирал все, даже самые малые сокровища ушедших времен, его худая рука приветственно простиралась к местам, где некогда цвела его юность. Карл Йозеф молчал. Ведь и он только что утратил свою юность. Его любовь умерла, и его сердце раскрылось для грусти отца. Он начал подозревать, что за костлявой суровостью окружного начальника таился другой, пусть скрытый, но все же сообщник, тоже Тротта, отпрыск словенского инвалида и удивительного героя битвы при Сольферино. И чем живее становились возгласы и замечания отца, тем тише и реже звучали в ответ покорные и привычные подтверждения сына, а принужденное и услужливое «так точно, папа», с детства привычное языку, звучало теперь иначе – по-братски и по-домашнему. Словно моложе становился отец и старше сын. Они останавливались перед многими казенными зданиями, в которых окружной начальник отыскивал прежних товарищей, свидетелей его юности. Брандль стал советником полиции, Смекаль – начальником департамента, Монтешицкий – полковником, а Газельбруннер – советником посольства. Они останавливались перед магазинами, заказали у Рейтмейера на Тухлаубене пару салонных штитлет из матового шевро для придворных балов и аудиенций и парадные рейтузы у придворного военного портного Этлингера; а затем свершилось невероятное – окружной начальник выбрал у придворного ювелира Шафранского сереб-

ряную табакерку, тяжелую, с ребристой крышкой, предмет роскоши, на которой велел выгравировать утешительные слова: «In periculo securitas³. Твой отец».

Они вышли из экипажа в Фольксгартене и выпили кофе. Среди зеленой тени светились белые круглые столы террасы, на скатертях голубели сифоны. Когда музыка переставала играть, слышно было ликующее пение птиц. Окружной начальник поднял голову и, словно добывая из высоты воспоминания, начал:

– Здесь я однажды познакомился с молоденькой девушкой. Как давно могло это быть? – Он пустился в молчаливые вычисления. Видно, долгие, долгие годы прошли с тех пор; у Карла Йозефа было такое чувство, словно рядом с ним сидел не отец, а прапрадед. – Мицци Шинагль звали ее, – произнес старый Тротта. В густых кронах каштанов искал он затуманившийся образ фрейлейн Шинагль, словно она была птичкой.

– Она еще жива? – осведомился Карл Йозеф, отчасти из вежливости, отчасти, чтобы получить точку опоры для оценки ушедших времен.

– Надеюсь! В мое время, знаешь ли, люди не были сентиментальны и умели расставаться и с девушками, и с друзьями... – Он внезапно оборвал речь. Какой-то незнакомец стоял перед их столиком, человек в шляпе с обвисшими полями и развевающимся по ветру галстуком, в серой, сильно поношенной визитке с обтрепанными фалдами, с густыми и длинными волосами вокруг нечисто выбритого широкого серого лица; на первый взгляд он казался художником со всеми признаками традиционного образа художника, который выглядит неправдоподобным и вырезанным из старых иллюстрированных журналов. Незнакомец положил свою папку на стол и уже намеревался предложить свои произведения с тем надменным безразличием, которое ему в равной степени сообщали нищета и сознание таланта.

– Да это Мозер! – промолвил господин фон Тротта.

Художник медленно приподнял тяжелые веки больших светлых глаз, всмотрелся в лицо окружного начальника, протянул руку и воскликнул:

– Тротта!

В следующий момент он уже стряхнул с себя и смущенье и мягкость, отшвырнул папку так, что задрожали стаканы, и три раза подряд воскликнул: «Гром и молния», – будто и в самом деле собирался вызвать бурю. Затем торжественным взглядом обвел соседние столики, как бы ожидая аплодисментов посетителей, уселся, снял шляпу и бросил ее рядом со стулом на усыпанную гравием дорожку, локтями сдвинул со стола папку, спокойно обозвав ее «дерьмом», склонился в сторону лейтенанта, нахмурил брови, снова откинулся назад и произнес:

– Итак, господин наместник, твой сын?

– Друг моей юности, профессор Мозер, – пояснил окружной начальник.

– Черт побери, господин наместник, – повторил Мозер. Тут же он ухватил проходящего кельнера за фалду фрака, приподнялся и прошептал ему на ухо заказ, как некую тайну, сел и молча уставился в ту сторону, откуда выходили кельнеры с напитками. Наконец перед ним очутился бокал с содовой водой и кристально-прозрачной сливянкой; он несколько раз подносил его к своим раздутым ноздрям, потом решительным движением приложил к губам, словно намереваясь разом осушить огромный бокал, наконец отхлебнул глоток и кончиком языка слизал с губ оставшиеся на них капли.

– Ты две недели здесь и не мог заглянуть ко мне, – начал он с испытующей строгостью начальника.

– Милый Мозер, – отвечал господин фон Тротта, – я приехал вчера и завтра уезжаю.

Художник пристально поглядел на окружного начальника. Затем снова поднес бокал ко рту и одним духом осушил его. Когда он захотел поставить бокал, он уже не мог найти блюдечка, Карлу Йозефу пришлось взять его из рук Мозера.

³ Сохранил тебя в опасности (лат.).

– Спасибо, – сказал художник и, указывая пальцем на лейтенанта, произнес: – Сходство с героем Сольферино исключительное! Только немного мягче! Слабохарактерный нос! Мягкий рот! Впрочем, со временем может измениться!..

– Профессор Мозер написал портрет твоего деда, – заметил старый Тротта.

Карл Йозеф посмотрел на отца, на художника, и в памяти у него возник портрет деда, меркнувший под сводами кабинета. Непонятной казалась ему связь между дедом и этим профессором, интимность отца в отношении Мозера его пугала, он видел, как широкая, грязная рука последнего дружески опустилась на полосатые брюки окружного начальника, и заметил уклоняющееся мягкое движение отцовской ноги. Старик сидел, как всегда, полный чувства собственного достоинства, откинувшись назад и отвернув голову, чтобы не чувствовать запаха алкоголя, бывшего ему в лицо, но улыбался и все сносил безропотно.

– Надо тебе себя подновить, – сказал художник, – ты здорово поизносился. Твой отец выглядел по-другому.

Окружной начальник погладил свои бакенбарды и улыбнулся.

– Да, старый Тротта!.. – снова начал художник.

– Получите, – вполголоса произнес окружной начальник, – ты извинишь нас, Мозер, у нас назначена встреча.

Художник остался сидеть, отец и сын вышли из сада.

Окружной начальник взял под руку сына, и Карл Йозеф впервые почувствовал сухую руку отца у своей груди; в тем – но-серой перчатке, слегка согнутая, она доверчиво лежала на рукаве синего мундира. Это была та же самая сухощавая рука, которая, высовываясь из крахмальной манжеты, умела призывать к порядку и предостерегать, бесшумными и острыми пальцами перелистывать бумаги, резким движением задвигать и запира́ть ящики, вынимая ключ так решительно, что казалось, будто их заперли на веки веков. Это была рука, которая выжидательно и нетерпеливо барабанила по краю стола, когда что-нибудь делалось вразрез с желанием ее обладателя, или по оконной раме, когда в комнате возникала какая-нибудь неловкость. На этой руке поднимался худой указательный палец, когда кто-нибудь из домашних поступал не так, как должно, она безмолвно сжималась в никогда никого не ударявший кулак, ласково ложилась на лоб, аккуратно снимала пенсне, легко охватывала бокал с вином, любовно подносила ко рту черную сигару. Это была левая рука отца, издавна знакомая сыну. И все же ему казалось, что он только теперь почувствовал ее, как руку отца, как отцовскую руку. Карл Йозеф ощутил потребность прижать ее к своей груди.

– Видишь ли, этот Мозер, – начал окружной начальник, помолчал с минуту, подыскивая справедливое веское слово, и сказал наконец: – из него могло бы кое-что выйти.

– Да, папа.

– Когда он написал портрет твоего деда, ему было шестнадцать лет. Нам обоим было по шестнадцати лет. Он был моим единственным другом во всем классе! Затем он поступил в академию. Водка едва не сгубила его. Несмотря на это, он... – Окружной начальник помолчал и только через несколько минут закончил: – Среди всех, кого я снова увидал сегодня, только он, несмотря на все, мой друг!

– Да, отец.

Впервые Карл Йозеф произнес слово «отец».

– Так точно, папа! – быстро поправился он.

Стемнело. Вечер яростно обрушился на улицы.

– Тебе холодно, папа?

– Ничуть.

Однако окружной начальник зашагал быстрее. Вскоре они уже подходили к гостинице.

– Господин наместник! – послышался голос. Художник Мозер, видимо, шел вслед за ними. Они обернулись. Он стоял со шляпой в руке, опустив голову, смиренно и как бы желая

сделать небывшим свой иронический оклик. – Господа извинят меня, – произнес он, – я слишком поздно заметил, что мой портсигар пуст. – Он показал им пустую жестяную коробку. Окружной начальник вынул портсигар. – Сигар я не курю, – сказал художник.

Карл Йозеф протянул ему коробку папирос. Мозер положил папку у своих ног на мостовую, обстоятельно наполнил свою коробку, попросил спичку, обеими руками оградил от ветра маленькое голубое пламя. Его руки, красные и клейкие, чрезмерно большие по отношению к суставам, тихонько дрожали, напоминая какие-то бессмысленные инструменты. Его ногти походили на маленькие, плоские черные лопатки, которыми только что рылись в земле, в грязи, в вареве красок, в жидком никотине.

– Итак, мы больше не увидимся, – сказал он и наклонился, чтобы поднять папку. Когда он выпрямился, по его щекам текли обильные слезы. – Никогда не увидимся, – всхлипнул он.

– Мне нужно на минуту подняться к себе в номер, – сказал Карл Йозеф и вошел в здание гостиницы.

Он взбежал наверх по лестнице, высунулся из окна, боязливо наблюдая за отцом; увидел, как старый Тротта вынул бумажник и как художник две минуты спустя уже с обновленными силами положил свою ужасающую руку на его плечо, восклицая:

– Итак, Франц, третьего, как обычно.

Карл Йозеф снова помчался вниз, ему казалось, что он должен защитить отца; профессор отсалютовал и, снова кивнув на прощанье, пошел с гордо поднятой головой, с уверенностью лунатика, прямо, как по нитке, через мостовую и еще раз кивнул им с противоположного тротуара, прежде чем исчезнуть за углом. Но через мгновение он снова появился, крикнул: «Одну минуточку» – так громко, что эхо на пустынной улице повторило это слово, неправдоподобно решительными и большими прыжками перебежал улицу и уже стоял перед гостиницей с таким видом, будто только что пришел и даже не думал прощаться всего несколько минут тому назад. И, словно впервые увидев друга своей юности и его сына, он начал жалобным голосом:

– Как печально так свидеться! Помнишь ли ты еще, как мы вместе сидели на третьей парте? В греческом ты был слаб, я всегда давал тебе списывать. Если ты действительно честен, ты сам признаешься в этом перед твоим отпрыском! Разве я не всегда давал тебе списывать? – Затем, обратившись к Карлу Йозефу: – Он был добрым малым, ваш господин отец, добрым, но Фомою неверным. И к девочкам он начал поздно ходить, мне пришлось прижать его куража, а то бы он, пожалуй, никогда не отыскал к ним дорогу. Будь честен, Тротта! Скажи, разве не я свел тебя?

Окружной начальник ухмыльнулся и промолчал. Художник Мозер, видимо, готовился произнести еще более пространную речь. Он положил папку на тротуар, снял шляпу, выставил вперед одну ногу и начал:

– Как я впервые встретился со стариком? Ты, верно, вспоминаешь, что это было во время каникул... – Внезапно он прервал свою речь и стал лихорадочно ощупывать карманы. Пот крупными каплями выступил у него на лбу. – Я их потерял, – крикнул он, задрожал и пошатнулся. – Я потерял деньги.

В этот момент из дверей гостиницы вышел портье. Приветствуя окружного начальника и лейтенанта, он ретиво взмахнул своей обшитой золотом фуражкой и сделал негодующее лицо. У него был такой вид, точно он собирался запретить художнику Мозеру шуметь здесь, задерживать и обижать постояльцев гостиницы. Старый Тротта сунул руку во внутренний карман, художник замолчал.

– Можешь ты меня выручить? – спросил отец.

Лейтенант сказал:

– Я немного провожу господина профессора. До свидания, папа!

Окружной начальник приподнял котелок и вошел в гостиницу. Лейтенант дал профессору кредитный билет и последовал за отцом. Художник Мозер поднял папку и с достоинством удалился несколько покачивающейся походкой.

Поздний вечер уже спустился на улицы, и даже в холле гостиницы было темно. Окружной начальник сидел с ключом от номера в руках в кожаном кресле, как составная часть темноты, котелок и палка лежали рядом с ним. Сын остался стоять на почтительном расстоянии, как бы желая официально доложить об окончании истории с Мозером. Лампы еще не были зажжены. Из сумеречной тишины донесся голос старого Тротта:

– Мы едем завтра в два часа пятнадцать минут пополудни.

– Так точно, папа!

– Во время музыки мне пришло в голову, что тебе следовало бы навестить капельмейстера Нехваля. После посещения вахмистра Слама, само собой разумеется. Есть у тебя еще какие-нибудь дела в Вене?

– Надо послать за рейтузами и портсигаром.

– Что еще?

– Больше ничего, папа.

– Завтра утром ты нанесешь визит твоему дяде. Ты, видно, забыл об этом. Как часто ты гостил у него?

– Два раза в год, папа.

– Ну так! Передашь мой привет. Скажешь, что я прошу извинить меня. Как он выглядит теперь, этот добрый Странский?

– В последний раз, когда я видел его, очень хорошо.

Окружной начальник потянулся за своей тростью и положил вытянутую руку на серебряный набалдашник, как он привык это делать, стоя на ногах, словно и сидя нуждался в особой точке опоры, как только речь заходила об этом Странском.

– Я видел его в последний раз девятнадцать лет назад. Он еще был обер-лейтенантом. И уже был влюблен в эту Коппельман. Неизлечимо! История весьма фатальная. По уши влюблен в некую Коппельман. – Фамилию он произнес громче всего остального с отчетливой цезурой между слогами. – У них, разумеется, не было денег на залог. Твоя мать едва не уговорила меня внести за него половину.

– Он подал в отставку?

– Да, он это сделал и поступил служить на северную железную дорогу. В каких он теперь чинах? Советник министерства путей сообщения, вероятно?

– Так точно, папа.

– Так! Из своего сына он, кажется, сделал аптекаря?

– Нет, папа, Александр еще учится в гимназии.

– Так. Немного прихрамывает, как я слышал?

– Одна нога у него короче другой.

– Ну да, – с удовлетворением закончил старик, словно он уже девятнадцать лет тому назад предвидел, что Александр будет прихрамывать.

Он поднялся, лампы в вестибюле вспыхнули и осветили его бледность.

– Пойду за деньгами, – сказал он и двинулся к лестнице.

– Я принесу их, папа, – предложил Карл Йозеф.

– Спасибо! – промолвил окружной начальник. – Рекомендую твоему вниманию, – сказал он, покуда они ели пломбир, – Бахусовы залы – нечто весьма модное. Возможно, что ты там встретишь Смекаля.

– Благодарю, папа. Спокойной ночи!

На следующее утро, между одиннадцатью и двенадцатью, Карл Йозеф посетил дядюшку Странского. Советник еще не приходил из бюро, его жена, урожденная Коппельман, просила

передать сердечный привет господину окружному начальнику. Карл Йозеф медленно направился в гостиницу через Корсо. Потом завернул в Тухлаубен и велел прислать рейтузы в гостиницу, после чего зашел и за портсигаром. Портсигар был холодный; его холод чувствовался сквозь карман тонкой гимнастерки. Он думал о визите к вахмистру Слама и решил ни в коем случае не входить в ее комнату. «Выражаю свое искреннее соболезнование!» – скажет он еще на веранде. Невидимые жаворонки заливаются под голубым сводом. Назойливо стрекочут кузнечики. Доносится запах сена, запоздалый аромат акаций и аромат распускающихся бутонов в саду жандармского управления. Фрау Слама мертва. Кати, Катерина Луиза, согласно метрическим записям. Она мертва.

Они поехали домой. Окружной начальник отложил в сторону свои бумаги, прислонил голову к красной подушке в углу у окна и закрыл глаза.

Карл Йозеф как бы впервые видел голову окружного начальника, откинутую назад, раздувшиеся ноздри его узкого, костлявого носа, изящную расселину на гладко выбритом, припудренном подбородке и бакенбарды, спокойно разделенные на два широких черных крыла. Они серебрились на внешних углах, возраст уже коснулся их и висков тоже. «Он тоже умрет, – подумал Карл Йозеф. – Умрет и будет зарыт в землю. Я останусь».

Они были одни в купе. Дремлющее лицо отца мирно покачивалось в красном сумраке обивки. Под черными усами бледные узкие губы казались тонкой полоской. На худой шее, между двумя блестящими углами воротничка, выпячивалось обнажившееся адамово яблоко, опущенные синеватые веки с тысячью морщинок тихо и непрерывно дрожали, широкий, цвета красного вина, галстук равномерно поднимался и опускался, и кисти скрещенных на груди рук тоже спали, скрытые подмышками. Великая тишина исходила от дремлющего отца. Успокоенная и умиротворенная, дремала его суровость, прикорнувши в тихой продольной бороздке между носом и лбом, как буря, спящая в ущелье между скал. Эта бороздка была знакома Карлу Йозефу, даже очень знакома. Лицо деда на портрете украшала та же самая бороздка, гневное убранство всех Тротта, наследие героя при Сольферино.

Отец раскрыл глаза.

– Долго еще?

– Два часа, папа.

Пошел дождь. Сегодня была среда, в четверг должен был состояться визит к вахмистру Слама. Дождь шел и в четверг с утра. Через четверть часа после еды, когда они еще сидели за кофе в кабинете, Карл Йозеф сказал:

– Я иду к Слама, папа.

– Он, к сожалению, один! – возразил окружной начальник. – Всего вернее ты его засташь в четыре.

В этот момент послышались два звонких удара на церковной башне, окружной начальник поднял указательный палец и вытянул его в направлении колоколов, к окну. Карл Йозеф покраснел. Казалось, что отец, дождь, часы, люди, время и сама природа решили сделать его путь еще более тяжелым. В те дни, когда он мог еще идти к живой фрау Слама, он прислушивался к полновзвучным ударам колокола, нетерпеливо, как и сегодня, но надеясь не застать дома вахмистра. Казалось, те дни зарыты в горах многих десятилетий. Смерть осеняла и прятала их, смерть стояла между «тогда» и «сегодня» и вклинивала весь свой безвременный мрак между прошлым и настоящим. И все же полновзвучный бой часов не стал иным, и, так же как тогда, сидели они сегодня в кабинете за черным кофе.

– Дождь идет, – сказал отец, словно только сейчас его заметил. – Может быть, ты возьмешь экипаж?

– Я люблю ходить под дождем, папа!

Он хотел сказать: «Длинным, длинным должен быть путь, которым я пойду. Может быть, мне тогда следовало брать экипаж, когда она была еще жива!» Было тихо, дождь барабанил в окна. Окружной начальник поднялся.

– Мне нужно через дорогу. – Он подразумевал – в присутствие. – Мы еще увидимся. – Он закрыл дверь мягче, чем это было в его привычках. Карлу Йозефу показалось, что отец еще стоял с минуту за дверью, прислушиваясь.

Теперь на башне пробило четверть, затем половину. Половина третьего. Еще полтора часа! Он вышел в коридор, взял в руку шинель, долго приводил в порядок обязательную складку на спине, продернул эфес сабли сквозь пройму кармана, машинально надел перед зеркалом свой головной убор и вышел из дому.

Глава четвертая

Он шел знакомой дорогой – через открытый виадук, мимо спящего желтого казначейства. Отсюда уже была видна одинокая жандармская казарма. Он шел дальше. В десяти минутах ходу от жандармской казармы находилось маленькое кладбище с деревянным забором. Пелена дождя, казалось, сгущалась над мертвыми. Лейтенант дотронулся до мокрой железной щеколды и вошел. Незримая глазу, свистела какая-то птица. Где бы могла она прятаться? Не доносилось ли ее пение из могилы? Он отворил дверь в сторожку, старуха с очками на носу чистила картофель. Она выронила из подола в ведро шелуху, так же как и плоды, и встала.

– Я хотел бы пройти к могиле фрау Слама!

– Предпоследний ряд, четырнадцатый, могила седьмая, – отрезала старуха, словно давно ждала этого вопроса.

Могила была еще свежа, крохотный холмик, маленький деревянный крест и мокрый от дождя венок из стеклянных фиалок, напоминавших о кондитерских лавках и конфетах. «Катерина Луиза Слама, родилась... умерла». Внизу лежала она, жирные кольчатые черви, пристроившись к округлым белым грудям, уже начинали точить их. Лейтенант закрыл глаза и снял шапку. Дождь с влажной ласковостью гладил его раздвоенные пробором волосы. Он не смотрел на могилу; разлагавшееся тело под этим холмом не имело никакого отношения к фрау Слама; она была мертва, мертва, а это значило: недостижима, хотя бы ты стоял у самой ее могилы. Ему было ближе тело, погребенное в его воспоминаниях, чем труп, лежавший под этим холмом. Карл Йозеф надел шапку и вынул часы из кармана. Еще полчаса. Он покинул кладбище.

Он добрался до жандармской казармы, надавил звонок, никто не шел. Вахмистра еще не было дома. Дождь шуршал по густой листве дикого винограда, обвивавшего веранду. Карл Йозеф принялся ходить взад и вперед, взад и вперед, закурил папиросу, снова бросил ее, думая о том, что напоминает часового, и каждый раз отворачивал голову, как только его взор падал на правое окно, из которого обычно выглядывала Катерина, смотрел на часы, нажимал белую кнопку звонка, дожидался.

Четыре глухих удара медленно донеслись из города, с церковной башни. Тогда вдруг откуда-то вынырнул вахмистр. Он машинально отдал честь, еще до того, как увидел, кто перед ним стоит. И Карл Йозеф, словно ему нужно было не поздороваться, а предупредить угрозу приближения жандарма, крикнул громче, чем намеревался: «Здравствуйте, господин Слама!» Он протянул руку, бросился в это приветствие, как бросаются в окоп, следя с тем нетерпением, с каким следишь за нападающим противником, за мешкотными движениями вахмистра, за его усилиями стянуть с руки мокрую перчатку, за тем усердием, которое он в это вкладывал, и его опущенным взглядом.

Наконец освобожденная рука, влажная, широкая, без пожатия легла в руку лейтенанта.

– Благодарю за посещение, господин барон, – сказал вахмистр, как будто лейтенант не только что пришел, а уже собирался уходить. Вахмистр достал из кармана ключ, отпер дверь. Порыв ветра дребезжащим дождем хлестнул по веранде. Казалось, он загонял лейтенанта в дом. В сенях брезжил слабый свет. Вахмистр открыл кухонную дверь, сумрак утонул в хлынувшем оттуда потоке света.

– Раздевайтесь, пожалуйста, – сказал Слама. Сам он еще стоял в шинели, подпоясанный.

«Мои искренние соболезнования, – думает лейтенант. – Сейчас я быстро скажу это и уйду». Но Слама уже протягивает руки, чтобы снять шинель с Карла Йозефа. Карл Йозеф подчиняется. Рука вахмистра на мгновение касается затылка лейтенанта, его загривка, над воротником, как раз на том месте, где обычно сплетались руки фрау Слама – нежные засовы любовных уз. Когда же, в какой момент можно будет наконец выпалить формулу соболезнования? Когда мы уже войдем в гостиную или только когда усядемся? Нужно ли тогда снова встать?

Кажется, что не можешь выдать ни единого звука, покуда не сказано это глупое слово, которое ты взял с собой в дорогу. Оно лежит на языке, тяжелое и бесплодное, с привкусом пошлости.

Вахмистр нажимает ручку, дверь в гостиную заперта. Он говорил «простите!», хотя и не виноват в этом. Снова хватается за карман шинели, которую уже успел снять, и звенит связкою ключей. Никогда эта дверь не бывала заперта при жизни фрау Слама. «Ее, значит, нет здесь!» – думает вдруг лейтенант, словно он не пришел сюда именно потому, что ее больше нет. Он только теперь замечает, что все время носился с тайной надеждой, что она может здесь быть, сидеть в одной из комнат и ждать. Теперь он наверное знает, что ее нет, что она действительно лежит там, под холмиком, который он сейчас только видел.

В гостиной пахнет сыростью, одно из двух окон занавешено, через другое струится серый свет пасмурного дня.

– Прошу войти, – повторяет вахмистр. Он стоит вплотную за лейтенантом.

– Спасибо, – говорит Карл Йозеф, входит и идет к круглому столу, он знает в подробности выпуклый узор покрывающей его скатерти, и маленькое зубчатое пятнышко в середине, и коричневый лак, и завитки его ребристых ножек. Вот стоит сервант с застекленными дверками, за ними мельхиоровые бокалы, и маленькие фарфоровые куклы, и свинка из желтой глины с щелочкой, для опускания монет, на спине.

– Окажите мне честь, присядьте, – бормочет вахмистр. Он стоит за спинкой одного из кресел, обнимает ее руками и держит перед собою, как щит. Больше четырех лет прошло с тех пор, как Карл Йозеф видел его в последний раз. Тогда он нес службу. Его черная шляпа была украшена пучком переливчатых перьев, ремни крест-накрест стягивали его грудь, с ружьем у ноги стоял он подле дверей канцелярии. Он был тогда вахмистром Слама; имя соответствовало его званию, и пучок перьев, как и белокурые усы, неотделимо принадлежали к его физиономии. Теперь вахмистр стоял за спинкой кресла, простоволосый, без шапки, без ремней и кушака, и видно было, как залоснилась рубчатая материя мундира на небольшой выпуклости его живота. Это уже не был вахмистр Слама того времени, здесь стоял Слама, жандармский вахмистр, ранее – муж фрау Слама, теперь – вдовец и хозяин этого дома. Его коротко остриженные белокурые волосики с пробором посредине лежали, как раздвоенная щеточка, над гладким лбом с вертикальной полоской – следом от жесткой шапки. Осиротевшей казалась эта голова без каски и кивера. Лицо, не затененное козырьком, образовывало правильный овал, заполненный щеками, носом, бородой и маленькими голубыми, упрямыми и прямодушными глазами. Вот он ждет, пока сядет Карл Йозеф, затем придвигает кресло, тоже садится и вытаскивает свой портсигар с крышкой из пестрой эмали. Вахмистр кладет его на середину стола, между собой и лейтенантом, и предлагает: «Не угодно ли?» – «Сейчас время соболезнавать», – думает Карл Йозеф, приподнимается и говорит: «Примите мое искреннее сочувствие, господин Слама!» Вахмистр сидит, положив обе руки на край стола, видимо, не сразу соображает, о чем идет речь, пытается улыбнуться, в свою очередь приподнимается, слишком поздно, как раз в тот момент, когда Карл Йозеф собирается снова сесть, снимает руки со стола и кладет их на колени, склоняет голову, снова подымает ее, смотрит на Карла Йозефа, как бы спрашивая, что ему следует делать. Они снова усаживаются. Главное позади. Они молчат.

– Она была хорошей женщиной, покойная фрау Слама, – говорит лейтенант.

Вахмистр гладит усы и, держа тонкий кончик бороды между пальцами, произносит:

– Она была красива, господин барон ведь знали ее.

– Я ее знал, госпожу вашу супругу. Очень ли она страдала перед смертью?

– Это продолжалось два дня. Мы слишком поздно позвали врача. Иначе она бы осталась в живых. У меня было ночное дежурство. Когда я вернулся домой, она была уже мертва. При ней была женщина из казначейства напротив. – И тотчас же вслед за этим: – Не угодно ли малиновой воды?

– Пожалуйста, пожалуйста, – говорит Карл Йозеф просветленным голосом, словно малиновая вода может в корне изменить положение, видит, как вахмистр встает и подходит к серванту. Карл Йозеф знает, что там нет малиновой воды. Она стоит в кухне, в белом застекленном шкафу, оттуда ее всегда доставала фрау Слама. Он внимательно следит за всеми движениями вахмистра, за его короткими сильными руками в узких рукавах, которые тянутся, чтобы достать бутылку с верхней полки, и тотчас же беспомощно опускаются, в то время как вытянутые ноги снова наступают на всю подошву, и Слама, как бы возвратившись из неведомых краев, куда он предпринимал ненужную и, к сожалению, безуспешную экспедицию, оборачивается и с трогательной безнадежностью в ярко-голубых глазах сообщает:

– Прошу прощения, я, к сожалению, не могу найти ее.

– Не существенно, господин Слама, – утешает его лейтенант.

Но вахмистр не слышит этого утешения и, как бы повинаясь приказу, полученному от высшего начальства и не подлежащему отмене, выходит из комнаты. Слышно, как он копошится в кухне, затем он возвращается с бутылкой в руке, достает из серванта стакан с матовым орнаментом по краям, ставит на стол графин с водой и, выливая из темно-зеленой бутылки тягучую рубиново-красную жидкость, еще раз повторяет: «Окажите мне честь, господин барон». Лейтенант наливает из графина воду в малиновый сироп, они молчат, вода сильной струей льется из наклоненного горлышка графина, чуть-чуть плещется, как бы тихо вторя неустанному шуму дождя, который они слышат все время. Дождь окутывает одинокий дом и делает обоих мужчин еще более одинокими. Они одни. Карл Йозеф поднимает стакан, вахмистр следует его примеру, лейтенант смакует липкую сладкую жидкость. Слама залпом опустошает свой стакан. У него жажда, странная, необъяснимая жажда в этот холодный день.

– Вы поступаете в N-ский уланский полк? – спрашивает Слама.

– Да, но я еще не познакомился с ним.

– У меня есть там знакомый вахмистр, военный писарь Ценобер. Он служил со мной в егерском полку, а потом перевелся в уланский. Из весьма почтенной семьи, очень образованный человек! Он, наверное, выдержит экзамен на офицера. Наш брат остается, где был. В жандармерии никаких видов нет.

Порывы ветра сделались яростнее, и дождь еще сильнее, он неустанно стучит в окна. Карл Йозеф говорит:

– Наша с вами профессия вообще нелегкая, я имею в виду военную службу!

Вахмистр начинает смеяться непонятым смехом, по – видимому, его страшно радует, что дело, которым занимаются они с лейтенантом, так трудно. Он смеется несколько громче, чем ему бы хотелось. Это видно по его рту, который открыт шире, чем того требует смех, и остается открытым дольше, чем он продолжается. На минуту кажется даже, что вахмистру уже по чисто физическим причинам трудно вернуться к своей будничной серьезности. Уж не радует ли его действительно, что ему и Карлу Йозефу так трудно приходится в жизни.

– Господину барону угодно, – начинает он, – говорить о «нашей» профессии. Прошу не обижаться, но ведь у нашего брата все обстоит несколько по-другому.

Карл Йозеф не знает, что на это ответить. Он чувствует, что вахмистр питает к нему вражду, может быть, это просто относится к условиям службы в армии и жандармерии. В кадетском корпусе их не учили, как следует офицеру вести себя в подобном положении. На всякий случай Карл Йозеф улыбается улыбкой, которая, как железная скоба, растягивает и снова сжимает его губы; кажется, что он скупится на выражение удовольствия, которое так необдуманно расточает вахмистр. Малиновая вода на языке, еще недавно казавшаяся сладкой, приобретает горький, приторный вкус, хочется запить ее коньяком. Ниже и меньше, чем обычно, выглядит сегодня красноватая гостиная фрау Слама, может быть, она придавлена дождем. На столе лежит хорошо знакомый ему альбом с твердыми и блестящими медными углами. Все картинки известны Карлу Йозефу. Вахмистр Слама спрашивает:

– Разрешите? – открывает альбом и держит его раскрытым перед лейтенантом. Здесь он в штатском, в качестве молодого мужа, снят рядом с женой.

– Тогда я еще был взводным, – с некоторой горечью объявляет вахмистр, словно желая сказать, что уже в те времена ему подобал более высокий чин. Фрау Слама сидит рядом с ним, с осиной талией, в летнем платье, узком и светлом, как в воздушном панцире, в плоской надетой набекрень шляпке. Что это? Разве Карл Йозеф еще никогда не видел этой карточки? Почему же она сегодня кажется ему такой новой? И такой старомодной? И такой чужой? И такой комичной? Да, он улыбается, как улыбаешься, разглядывая смешную картинку из давно прошедших времен, словно фрау Слама никогда не была ему близка и дорога и словно она умерла не всего несколько месяцев, а уже много лет тому назад.

– Она была очень хорошенькой. Это видно, – говорит он уже не в смущении, как раньше, а из доброжелательного лицемерия. Ведь принято говорить лестное о покойнице вдовцу, которому выражаешь соболезнование.

Он тотчас же чувствует себя освободившимся и разобленным с покойной, словно все, все теперь погашено. Все было самовнушением. Он выпивает малиновую воду, поднимается и говорит:

– Итак, я пошел, господин Слама! – Он не ждет ответа, поворачивается так, что вахмистр едва успевает встать, вот они уже и в сенях. Карл Йозеф надел шинель и медленно, с удовольствием натягивает перчатку на левую руку, на это у него вдруг оказывается достаточно времени, он едва успевает выговорить:

– Ну-с, всего хорошего, господин Слама! – Он с удовлетворением слышит чуждый, выскомерный тон в своем голосе. Слама стоит с опущенными глазами, не зная, куда девать руки, которые вдруг стали пустыми, точно до сих пор они что-то держали и вот только сейчас выронили и навеки утратили. Онижимают друг другу руки. Кажется, Слама хочет еще что-то сказать? Не важно!

– Может быть, заглянете еще разок, господин лейтенант! – все же произносит он. Едва ли он думает это всерьез... Карл Йозеф уже забыл, как выглядит Слама. Он видит только желто-золотой кант на его воротнике и три золотых нашивки на черном рукаве жандармского мундира.

– Всего хорошего, вахмистр.

Дождь все еще идет, медленно, неустанно; изредка налетают порывы теплого ветра. Кажется, что вечер давно уже должен был настать, а все еще не настает. Все время эта серая мокрая сетка. Впервые, с тех пор как он надел военную форму, даже с тех пор, как он начал мыслить, Карл Йозеф чувствует, что нужно поставить воротник. Он уже поднимает руку; но, вдруг вспомнив, что на нем военная форма, снова опускает ее. Он как будто на секунду забыл о своем звании... Медленным звенящим шагом, радуясь этой медлительности, идет он по мокрому шуршащему гравия палисадника. Ему не нужно спешить, ничего не произошло, все было сновидением. Который может быть час? Часы запряжаны слишком далеко, под мундиром, в маленьком кармане рейтуз. Не стоит расстегивать шинель. Все равно скоро пробьет на башне.

Он открывает калитку, выходит на улицу.

– Господин барон! – произносит вдруг за его спиной вахмистр. Непонятно, как мог он так неслышно идти за ним. Карл Йозеф пугается. Он останавливается, но не решается тотчас же обернуться. Может быть, дуло пистолета уже направлено прямо в промежуток между складками шинели. Страшная и ребяческая мысль! Не начинается ли все с начала?

– Да, – говорит он, все еще с высокомерной небрежностью, которая звучит как тягостное продолжение его прощания и стоит ему больших усилий, – он оборачивается. Без шинели, с непокрытой головой стоит вахмистр на дожде, с мокрой, разделенной надвое щеточкой волос и большими дождевыми каплями на гладком лбу. Он держит в руках голубой пакетик, накрест перевязанный серебряным шнурочком.

– Это для вас, господин барон, – говорит вахмистр, опустив глаза в землю. – Прошу прощения! Так распорядился господин окружной начальник. Я тотчас же принес их тогда. Господин окружной начальник быстро просмотрел и сказал, чтобы я отдал их вам в собственные руки!

С минуту длится тишина, только дождь барабанит по бедному голубому пакетику, окрашивая его в совсем темный цвет, он не может больше ждать, этот пакетик. Карл Йозеф берет его, опускает в карман шинели, краснеет, намеревается снять перчатку с правой руки, передумывает, протягивает облитую лайкой руку вахмистру, говорит: «Большое спасибо», – и быстро удаляется.

Он ощущает этот пакетик в кармане. Оттуда вверх по руке струится неведомый жар и еще сильнее гонит краску на его лицо. Он чувствует теперь, что нужно расстегнуть воротник, так же как раньше чувствовал, что его следует поднять. Во рту снова появляется горьковатый привкус малиновой воды. Карл Йозеф вынимает пакетик из кармана. Да, без сомнения. Это его письма.

Уж должен бы наконец настать вечер и прекратиться дождь. Многое должно бы измениться на свете, может, вечернее солнце дойдет сюда еще один последний луч. Сквозь сетку дождя луга выдыхают хорошо знакомый аромат, и вот опять слышится одинокий крик неведомой птицы, никогда ее здесь не слыхали, вся местность словно чужая. На башне бьет пять, значит, прошел ровно час – не больше часа. Как нужно идти, быстро или медленно? У времени чуждая, загадочная поступь, каждый час, как год. Вот бьет пять с четвертью. А пройдено едва несколько шагов. Карл Йозеф шагает быстрее. Он переходит через полотно, здесь начинаются первые домики города. Дорога ведет мимо кафе, единственного заведения в городишке с модной вертящейся дверью. Может быть, следует зайти, выпить коньяку, не присаживаясь, и снова уйти? Карл Йозеф входит.

– Поскорей, пожалуйста, коньяку, – говорит он у стойки. Он не снимает кивера и шинели. Несколько посетителей поднимаются. Слышится стук бильярдных шаров и шахматных фигур. Гарнизонные офицеры сидят в полутьме ниш, Карл Йозеф не видит их и не здоровается с ними. Самое важное – это коньяк. Он бледен, белокурая кассирша по-матерински улыбается ему со своего возвышенного места, заботливой рукой кладет кусок пиленого сахара рядом со стопкой. Карл Йозеф залпом выпивает ее. Тотчас же заказывает следующую. Вместо лица кассирши он видит только мерцанье белокурых волос и две золотые пломбы в углах рта. У него такое ощущение, словно он делает что-то запретное, и он не знает, почему запретно – выпить две стопки коньяку. В конце концов он уже не ученик кадетского корпуса. Почему кассирша так странно улыбается, глядя на него? Ее взгляд цвета морской воды и наведенная чернота бровей мучают его. Он отворачивается и смотрит в зал. В углу, подле окна, сидит его отец.

Да, это окружной начальник – и что тут удивительного? Каждый день, между пятью и семью, он сидит здесь, читает «Правительственный вестник» и курит «Виргинию». Всеу городу это известно вот уже три десятка лет. Окружной начальник сидит там, смотрит на своего сына и, наверно, улыбается. Карл Йозеф снимает кивер и идет прямо к отцу. Старый господин Тротта взглядывает на него из-за газеты, не выпуская ее из рук, и говорит:

- Ты от Слама?
- Так точно, папа!
- Он отдал тебе твои письма?
- Так точно, папа!
- Садись, пожалуйста!
- Слушаюсь, папа.

Наконец окружной начальник перестает читать газету, кладет локти на стол, поворачивается к сыну и говорит:

- Она дала тебе дешевого коньяку. Я всегда пью «Хеннесси».

– Буду иметь в виду, папа.

– Впрочем, пей пореже! Ты еще несколько бледен. Раздевайся! Там майор Кредль, он смотрит сюда!

Карл Йозеф поднимается и с поклоном приветствует майора.

– Он был неприятен, Слама?

– Нет, очень милый парень!

– Так-с!

Карл Йозеф снимает шинель.

– Где же у тебя эти письма? – спрашивает окружной начальник.

Сын достает пакетик из кармана. Старый Тротта берет его. Взвешивает на правой руке, снова кладет на стол и говорит:

– Довольно много писем...

– Так точно, папа!

Все тихо, слышится только стук бильярдных шаров и шахматных фигур, да за окном льет дождь.

– Послезавтра ты отбываешь в полк, – говорит окружной начальник, глядя в окно. Внезапно Карл Йозеф чувствует сухую руку отца на своей руке. Рука окружного начальника лежит на руке лейтенанта, холодная и костлявая. Карл Йозеф опускает глаза на стол. Он краснеет. И говорит:

– Так точно, папа!

– Получите! – кричит окружной начальник и снимает свою руку. – Скажите барышне, – обращается он к кельнеру, – что мы пьем только «Хеннесси».

По ровной, как нитка, диагонали проходят они к двери, – отец, а позади него сын.

Они идут домой по влажному саду, теперь уже капает только с деревьев, мягко и певуче. Из ворот окружной управы выходит вахмистр Слама в шлеме, с винтовкой, к которой пригнан штык, и со служебной книгой под мышкой.

Глава пятая

Казарма была расположена в северной части города. Она замыкала собой широкую ухоженную дорогу, которая позади кирпичного здания принимала другое направление и уходила в голубые дали. Казалось, что казарма воздвигнута здесь, в славянской провинции, как символ габсбургского могущества. Она преграждала путь древней дороге, которая стала такой широкой от длившихся столетиями странствий славянских племен. Дороге пришлось посторониться. Она описывала дугу вокруг казармы. Даже остановившись на северном краю города, в конце улицы, там, где дома делались все меньше и, наконец, превращались в деревенские хижинки, можно было видеть в ясные дни широкие, сводчатые черно-желтые ворота казармы. Полк стоял в Моравии. Но был укомплектован не чехами, как можно было бы предположить, а украинцами и румынами.

Два раза в неделю происходили маневры на южном пустыре. Два раза в неделю полк проезжал на рысях по улицам городка. Звонкие и гремящие звуки труб через равномерные промежутки времени прерывали равномерное цоканье копыт, и красные рейтузы всадников по обе стороны блестящих коричневых боков лошадей наполняли город кровавым великолепием. На тротуарах останавливались горожане. Купцы покидали свои лавки, праздные посетители кафе – свои столики, городские полицейские – привычные посты, а крестьяне, привозившие из деревень на базар свежие овощи, – своих лошадей и телеги. Только возницы немногих дрожек, стоявших неподалеку от городского парка, оставались неподвижно сидеть на козлах. Со своей верхотуры они могли обозревать военный спектакль еще лучше, чем стоящие на тротуарах пешеходы. И казалось, что старые клячи с глухим равнодушием приветствовали великолепное появление своих более молодых и здоровых товарищей. Кавалерийские кони были дальними родственниками печальных лошадок, которые уже пятнадцать лет только и делали, что возили дрожки на вокзал и с вокзала.

Карлу Йозефу, барону фон Тротта, эти животные были безразличны. Иногда ему казалось, что он чувствует в себе кровь предков: они не были наездниками. С взрыхляющей бороной в огрубевших руках, шаг за шагом шли они по земле. Они врезали бороздящий плуг в сочные глыбы пашни и, сгибая ноги в коленях, шли за медлительными волами. Ивовыми прутьями подгоняли они лошадей, а не шпорами и хлыстом. Отточенная коса, как молния, блистала в их высоко поднятых руках; они скашивали изобилие, которое сами посеяли. Отец деда был еще крестьянином. Сиполье – было название деревни, откуда они происходили. Сиполье – это слово имело старинный смысл. Нынешним словенцам оно едва ли было знакомо. Но Карлу Йозефу казалось, что он знает эту деревню. Он видел ее, когда вспоминал о портрете своего деда, меркнувшем под сводами кабинета. Она приютилась меж неведомых гор, под золотым блеском неведомого солнца, стаям мазанок, крытых соломой. Красивая деревня, милая деревня! Ради нее стоило пожертвовать офицерской карьерой.

Но увы, он был не крестьянин, а барон и лейтенант уланского полка! У него даже не было собственной комнаты в городе, как у других. Карл Йозеф жил в казарме. Окно его выходило на двор. Напротив были помещения для рядовых. Когда в полдень он возвращался в казарму и за ним закрывались большие, двухстворчатые ворота, ему чудилось, что он в плену; никогда они уже не откроются для него. Его шпоры зябко звенели по голой каменной дорожке, и топот его сапог отдавался в буром деревянном, запачканном дегтем полу коридора. Белые известковые стены еще удерживали свет исчезающего дня и теперь вновь отбрасывали его в своей бережливой наготе, как бы заботясь о том, чтобы казенные керосиновые лампы не были зажжены раньше, чем окончательно стемнеет; словно они своевременно вобрали в себя день, чтобы теперь, в темноте, источать его. Карл Йозеф не зажег света. Прижавшись лбом к окну, – которое внешне как бы отделяло его от сумрака, на деле же было прохладной наружной сте-

ною этого сумрака, – смотрел он в освещенные желтоватым светом помещения для рядовых. Он охотно поменялся бы с кем-нибудь из солдат. Там они сидели, полураздетые в грубых желтоватых казенных рубашках, болтали босыми ногами, свесившимися с коек, пели, разговаривали и играли на губной гармонике. В это время дня – осень уже давно наступила – через час после переклички и за полтора часа до отбоя казарма походила на гигантский корабль. Карлу Йозефу даже казалось, что она тихонько покачивается и что желтые керосиновые лампы с большими белыми абажурами движутся в ритм с волной какого-то неведомого океана. Солдаты пели песни на незнакомом языке: по-словенски. Прежние крестьяне из Сиполья, верно, поняли бы их! Дед Карла Йозефа, возможно, тоже понял бы их! Его загадочный образ меркнул под сводами кабинета. За этот портрет цеплялись воспоминания Карла Йозефа, как за единственную и последнюю реликвию, завещанную ему длинным рядом неизвестных предков. Их потомком был он. С тех пор как он вступил в полк, он ощущал себя внуком своего деда, не сыном своего отца; да, он был как бы сыном своего удивительного деда. Без передышки дудели они там в губную гармонiku. Он мог ясно видеть движения грубых коричневых рук, водивших жестяным инструментом перед красными ртами, а время от времени и поблескивание металла. Великая тоска этого инструмента лилась сквозь закрытые окна в черный прямоугольник двора и наполняла мрак ясным ощущением родины: и жены, и ребенка, и родного двора. Там жили они в низких хижинах, по ночам оплодотворяли женщин, а при дневном свете – свои поля! Зимой вокруг хижин высоко лежал белый снег. Летом же вокруг них волновалась высокая желтая рожь. Крестьянами были они, крестьянами!

Осень уже давно наступила. Когда уланы вставали поутру, солнце, кроваво-красное, как королек, всплывало на восточном крае неба. И когда они приступали к гимнастическим упражнениям на заливном лугу, на широкой зеленоватой прогалине, окруженной черневшими елями, тяжеломерно поднимались серебряные туманы, разорванные сильными, равномерными движениями темно-синих мундиров. Бледное и хмурое вставало солнце. Сквозь черные сучья пробивалось его матовое серебро, холодноватое и чужое. Мороз, как жесткая скребница, чесал ржаво-рыжие шкуры коней; их ржание доносилось с соседней лужайки – тоскливый вопль по родине и конюшне. Сейчас делали «вольные упражнения с карабинами».

Карл Йозеф едва мог дожидаться возвращения в казармы. Он боялся четверти часа «отдыха», наступавшего ровно в десять, и разговоров с товарищами, которые иногда собирались в соседней харчевне, чтобы выпить пива, в ожидании полковника Ковача. Еще мучительнее был вечер в казино. Скоро он наступит. Появляться там обязательно. Уже приближался час отбоя. Уже темно-синие звенящие тени возвращающихся солдат спешили по прямоугольнику казарменного двора. Там, напротив, вахмистр Резничек появился у двери с желтоватым, мигающим фонарем в руках, и трубачи уже собирались в темноте. Желтые медные инструменты мерцали на фоне темной блестящей синевы мундиров. Из конюшен слышалось сонное ржание коней. На небе блестели звезды, золотые и серебряные.

В дверь постучали. Карл Йозеф не двинулся с места. Это его денщик, он и так войдет. Его зовут Онуфрий. Сколько потребовалось времени, чтобы затвердить это имя! Онуфрий! Деду это имя еще было привычным.

Онуфрий вошел. Карл Йозеф прижался лбом к стеклу. Он слышал, как за его спиной денщик шелкнул каблуками. Сегодня среда, и Онуфрию полагалось увольнение. Нужно было зажечь свет и подписать ему отпускное свидетельство.

– Зажгите свет! – приказал Карл Йозеф, не оборачиваясь. Напротив солдаты все еще играли на губной гармонике.

Онуфрий зажег свет. Карл Йозеф слышал, как повернулся выключатель на дверной раме. За его спиной стало совсем светло. В окно все еще упорно глядела темнота и блестел желтый уютный огонек из расположенных напротив помещений для рядовых. (Электричество было привилегией офицеров.)

- Куда ты пойдешь сегодня? – спросил Карл Йозеф, по-прежнему глядя в окно.
- К девочке, – ответил Онуфрий. Сегодня лейтенант впервые сказал ему «ты».
- К какой девочке? – осведомился Карл Йозеф.
- К Катерине. – Слышно было, что он стал навязать.
- Вольно, – скомандовал Карл Йозеф. Онуфрий (это тоже было слышно) выдвинул правую ногу.

Карл Йозеф обернулся. Перед ним стоял Онуфрий, его огромные лошадиные зубы блестели между толстыми красными губами. Он не мог стоять «вольно» не улыбаясь.

- Как она выглядит, твоя Катерина? – спросил Карл Йозеф.
- Господин лейтенант, дозволейте доложить: большая белая грудь!

Большая белая грудь! Лейтенант ощутил на ладони воспоминание о грудях Кати. Мертва была она, мертва!

- Увольнительную! – приказал Карл Йозеф. Онуфрий протянул ее.
- Где она живет, твоя Катерина? – спросил лейтенант.
- У господ, – отвечал Онуфрий.
- Дай сюда! – сказал Карл Йозеф. Он взял увольнительную, расправил ее, подписал. – Иди к своей Катерине, – сказал он. Онуфрий еще раз щелкнул каблуками. – Налево, кругом, марш, – скомандовал Карл Йозеф.

Он выключил свет. Ощупью, в темноте, отыскал шинель. Вышел в коридор. В момент, когда он закрывал за собой дверь, внизу трубачи в последний раз протрубили отбой. Звезды на небе блестели дрожащим светом. Часовой у ворот взял на караул. За Карлом Йозефом закрылись ворота. Серебряная от лунного света, мерцала улица. Желтые огни города кивали ему, как падающие звезды. Шаги гулко звучали по свежезамерзшей осенне-ночной почве.

За спиной он услышал топот сапог Онуфрия. Лейтенант пошел быстрее, чтобы не дать денщику обогнать себя. Но Онуфрий тоже ускорил шаги. Так бежали они друг за другом по пустынной, замерзшей и гулкой улице. Онуфрию, видимо, доставляло удовольствие догонять своего лейтенанта. Карл Йозеф остановился и стал ждать. Онуфрий явственно вырисовывался в лунном свете; казалось, что он растет, что он поднимает голову к звездам, точно хочет почерпнуть у них новые силы для встречи со своим господином. Он отчетливо махал руками в ритм со своим шагом, казалось, что он и воздух попирает руками. За два шага до Карла Йозефа он остановился, снова выпятил грудь и, страшно щелкнув каблуками, отдал честь рукой с как бы сросшимися пальцами. Карл Йозеф беспомощно улыбнулся. Всякий другой, подумал он, сумел бы сказать ему что-нибудь приятное. Трогательно было, как Онуфрий следовал за ним. Собственно, он даже ни разу его хорошенько не разглядел. Покуда ему не удавалось запомнить имя, он не мог рассматривать и его лицо. Ему казалось, что каждый день его обслуживал новый денщик. Другие говорили о своих денщиках с видом знатоков, так же как о девочках, лошадях, одежде и любимых блюдах. Карл Йозеф, когда речь заходила о слугах, думал только о старом Жаке, там, дома, о старом Жаке, который служил еще его деду. Кроме старого Жака на свете не было ни одного слуги! Теперь перед ним, на освещенной луною улице, стоял Онуфрий, с мощно выпяченной грудной клеткой, с блестящими пуговицами и зеркально начищенными сапогами.

- Стоять вольно, – сказал Карл Йозеф.

Ему следовало бы сказать что-нибудь ласковое. Дед сумел бы так обратиться к Жаку. Онуфрий с треском выдвинул правую ногу вперед. Его грудная клетка осталась выпяченной, приказ на него не подействовал.

- Стой вольно, – повторил Карл Йозеф немного грустно и нетерпеливо.
- Так точно, стою вольно, – отвечал Онуфрий.
- Далеко отсюда живет твоя девочка? – осведомился Карл Йозеф.
- Недалеко, осмелюсь доложить, всего час ходьбы, господин лейтенант!

Нет, ничего не получается! Карл Йозеф не находил ни единого слова. Его душила какая-то незнакомая нежность; он не умел обходиться с нижними чинами. А с кем он умел обходиться? Его беспомощность была велика, он едва находил слова и в общении с товарищами. Почему они все шептались, едва только он от них отворачивался или когда он подходил к ним? Почему он так плохо сидел на коне? Ах, он знал себя! Он видел свой силуэт, как в зеркале. И никто не мог бы его разубедить – за его спиной шушукались товарищи. Их ответы он понимал только после долгих объяснений; но и тогда не мог им смеяться, именно тогда-то и не мог! И все же полковник Ковач любил его. И у него, безусловно, был отличнейший послужной список. Он живет в тени деда! Вот оно что! Он внук героя Сольферино, единственный внук. Темный, загадочный взгляд деда постоянно покоится на его затылке! Он внук героя Сольферино.

Несколько минут Карл Йозеф и его денщик Онуфрий молча стояли друг против друга на мерцающей молочным светом улице. Луна и безмолвие удлиняли минуты. Онуфрий не двигался. Он стоял, как монумент, облитый серебром луны. Карл Йозеф внезапно повернулся и зашагал вперед. Точно в трех шагах расстояния следовал за ним и Онуфрий. Карл Йозеф слышал равномерный стук тяжелых сапог и железное звяканье шпор. Парень шел за ним; в такт его шагам. Лейтенант старался идти в ногу с сапогами за своей спиной. Он боялся разочаровать Онуфрия, невнимательно сменивши ногу.

Наконец они дошли до города. Карлу Йозефу пришло на ум удачное слово, пригодное для прощания: «Всяческих удовольствий, Онуфрий», – и он быстро завернул в боковую улицу. Благодарность денщика прозвучала для него уже как отдаленное эхо.

Он сделал вынужденный крюк и десятью минутами позже достиг казино. Казино помещалось в первом этаже одного из лучших домов старого города. Все окна, как и каждый вечер, изливали поток света на площадь, на это Корсо местного населения. Было уже поздно, следовало ловко проскользнуть через густые толпы наслаждающихся гуляньем горожан с супругами. Из дня в день лейтенанту причиняло невыразимые муки возникать в своей звенящей пестроте среди темной толпы штатских, чувствовать на себе любопытные, неприязненные и похотливые взоры и, наконец, подобно некоему божеству, исчезать в ярко освещенном подъезде казино. Он быстро протискивался через толпу гуляющих. Две минуты пришлось идти по довольно длинному Корсо, две отвратительные минуты. По лестнице он взбежал через две ступени. Встреч на лестнице следовало избегать – дурная примета. Тепло, свет и голоса встретили его в вестибюле. Он вошел, обменялся поклонами. Стал искать полковника Ковача в привычном углу. Там он каждый вечер с воодушевлением играл в домино, может быть, из безмерного страха перед картами. «Я еще никогда не держал карт в руках», – говаривал он. Не без брезгливости произносил он слово «карты»; и при этом бросал взгляд на свои руки, как бы показывая, что в них держит он свою безупречную нравственность. «Рекомендую вам, господа, – иногда продолжал он, – домино! Это чистая игра, она воспитывает в вас умеренность». И он наудачу брал один из черно-белых многоглазых камней и поднимал его, как некое магическое орудие, при помощи которого можно исцелить одержимых бесом картежников.

Сегодня была очередь ротмистра Тайтингера нести службу по игре в домино. Лицо полковника отбрасывало синевато-красный свет на желтоватое худощавое лицо ротмистра. Карл Йозеф, мягко звякнув шпорами, остановился перед полковником. «Servus», – произнес тот, не поднимая глаз от домино. Он был покладистым человеком, этот полковник Ковач. Уж много лет, как он усвоил себе отеческие повадки. И только раз в месяц впадал в нарочитый гнев, перед которым сам испытывал больший страх, чем его подчиненные. Тут всякий повод был для него желанен. Он орал так, что сотрясались стены казармы и старые деревья вокруг заливного луга. Его сине-красное лицо бледнело вплоть до губ, а его нагайка судорожно и без усталости била по голенищу сапога. Он кричал сплошь что-то непонятное, и вклинивающиеся сюда, постоянно повторяющиеся и бессвязно выкрикиваемые слова «Как? В моем полку?» звучали тише, чем все остальное. Он умолкал так же внезапно, как начинал, и тотчас же удалялся из канцелярии,

из казино, с плацдарма – словом, с места, которое на сей раз избирал ареной для своей грозы. Да, все знали его, полковника Ковача, этого добродушнейшего зверя! На регулярность взрывов его гнева можно было полагаться, как на стояния луны. Ротмистр Тайтингер, который уже дважды переводился из полка в полк и имел точные сведения о всем начальствующем составе, без устали доказывал каждому встречному, что во всей австро-венгерской армии нет более безвредного командира полка.

Полковник Ковач оторвался на мгновение от своей партии в домино и подал Тротта руку.

– Уже поужинали? Жаль, – добавил он. – Шницель сегодня был великолепен! Великолепен! – произнес он еще раз, немного спустя. Ему было жаль, что Тротта не отведал шницеля. Он охотно еще раз прожевал бы его на глазах у лейтенанта; пусть, по крайней мере, хоть посмотрит, как его уплетают. – Ну-с, желаю повеселиться, – сказал он наконец и снова обратился к домино.

Толчеза в этот час была страшная, нельзя было уже сыскать уютного местечка. Ротмистр Тайтингер, с незапамятных времен заправлявший офицерским собранием, – единственной его страстью было сладкое печенье, – мало-помалу преобразовал казино наподобие той кондитерской, где он ежедневно проводил послеобеденные часы. Его можно было видеть сквозь стеклянную дверь сидящим в мрачной неподвижности – оригинальная рекламная фигура в военной форме. Он был лучшим из постоянных посетителей кондитерской и, вероятно, самым голодным. Без малейшего следа жизни на скорбном лице поглощал он одну тарелку сладостей за другой, время от времени отпивая глоток воды, неподвижно смотрел сквозь стеклянную дверь на улицу, слегка кивая, когда проходящий солдат отдавал ему честь, и в его большой худощавой голове с реденькими волосами, по-видимому, ровно ничего не происходило. Он был кротким и очень ленивым офицером. Хлопоты по клубу, возня с кухней, поварами, вестовыми, винным погребом из всех служебных обязанностей единственно были ему приятны. А его обширная корреспонденция с виноторговцами и ликерными фабрикантами давала работу не менее чем двум писарям. За один год ему удалось уподобить обстановку казино обстановке своей любимой кондитерской, расставить изящные столики по углам и прикрыть настольные лампочки красноватыми абажурами.

Карл Йозеф поглядел вокруг себя. Он искал сносного места. Место между прапорщиком запаса Бернштейном, рыцарем фон Залого, новопожалованным дворянином и богатым адвокатом, и розовым лейтенантом Киндерманом, уроженцем Германии, было относительно наиболее приемлемым. От прапорщика, к солидному возрасту и слегка выдававшемуся животу которого так мало шел этот юношеский чин, что он казался переряженным в военную форму бюргером, от его лица с маленькими черными как смоль усиками, которому явно не доставало соответственного его природе пенсне, веяло более, чем от кого-либо в этом казино, каким-то благонадежным достоинством. Бернштейн напоминал Карлу Йозефу то ли домашнего врача, то ли доброго дядюшку. Ему одному в этих двух больших залах можно было поверить, что он всерьез, честно сидит на своем месте. Все остальные словно бы подпрыгивали на стульях. Единственная уступка, которую прапорщик доктор Бернштейн, не считая ношения формы, делал своему военному званию во время повторных сборов, был монокль, ибо в частной жизни он действительно носил пенсне.

Благонадежнее других был, без сомнения, и лейтенант Киндерман. Он весь состоял из некой блондинистой, розовой и прозрачной субстанции. Казалось, что можно сквозь него просунуть руку, как сквозь освещенный вечерним солнцем легкий дымок. Все, что он говорил, легко и прозрачно испарялось из его существа, без того, чтобы он уменьшался в размере. И даже в серьезности, с которой он прислушивался к серьезным разговорам, было что-то солнечно-улыбающееся. Веселое ничто сидело за столиком. «Servus», – просвистел он своим высоким голосом, про который полковник Ковач говорил, что это один из духовых инструментов

прусской армии. Прапорщик запаса Бернштейн приподнялся согласно правилам, но с важностью.

– Мое почтение, господин лейтенант! – произнес он. Карл Йозеф едва удержался, чтобы не ответить столь же почтительно «Добрый вечер, господин доктор!».

– Я не помешаю? – ограничился он вопросом и сел.

– Доктор Демант сегодня возвращается, – начал Бернштейн, – я случайно встретился с ним после обеда.

– Премилый малый, – просвистел на своей флейте Киндерман. После густого судейского баритона Бернштейна это прозвучало как легкое дуновение ветерка по струнам арфы. Киндерман, постоянно озабоченный тем, чтобы маскировать свой весьма малый интерес к женщинам особым вниманием, которое он им уделял, объявил:

– А его жена – вы ее не знаете – прелестное существо, очаровательная женщина. – При слове «очаровательная» он поднял руку, так что его изящные пальцы заплясали в воздухе.

– Я знал ее еще молоденькой девушкой, – сказал прапорщик.

– Интересно, – заметил Киндерман. Он явно притворялся.

– Ее отец был прежде одним из богатейших шляпных фабрикантов, – продолжал прапорщик. Казалось, он зачитывает показания. Видимо, испугавшись своей фразы, он остановился. Слово «шляпный фабрикант» звучало слишком по-штатски, ведь он, в конце концов, сидел не с присяжными поверенными. Он про себя поклялся отныне точно обдумывать каждую фразу. Столько он мог все-таки сделать для кавалерии! Он попытался взглянуть на Карла Йозефа. Но тот сидел как раз слева, а Бернштейн носил монокль в правом глазу. Ясно он различал только лейтенанта Киндермана: этот оставался безразличным. Чтобы проверить, не произвело ли фамильярное упоминание о шляпном фабриканте удручающего действия на лейтенанта Тротта, Бернштейн вытащил свой портсигар и протянул его налево, но тут же вспомнил, что Киндерман рангом выше, и, обернувшись направо, торопливо пробормотал: – Pardon.

Теперь все трое курили молча. Взор Карла Йозефа устремился на портрет императора, висевший на противоположной стене. Франц Иосиф был на нем изображен в белом, как цвет яблони, мундире, с кроваво-красным шарфом через плечо и орденом Золотого руна на шее. Большая черная фельдмаршальская шляпа с пышным зеленым султаном из павлиньих перьев лежала рядом с императором на выглядевшем весьма шатким столике. Портрет висел, казалось, очень далеко, много дальше стены. Карл Йозеф вспомнил, что в его первые дни в полку этот портрет, в известной мере, служил для него гордым утешением. В те дни он чувствовал, что император каждое мгновение может выйти из узкой черной рамы. Но постепенно император приобрел безразличный, знакомый, не привлекающий внимания облик – такой, какой он имел на почтовых марках и монетах. Его портрет висел на стене казино – своеобразный род жертвы, которую божество само себе приносит... Глаза его – некогда они напоминали лейтенанту летнее небо каникулярного времени – теперь казались сделанными из твердого синего фарфора. И все-таки это был тот же самый император. Дома, в рабочей комнате окружного начальника, висел тот же портрет. Он висел в большом актовом зале кадетского корпуса. Он висел в канцелярии полковника в казарме. Сотни тысяч раз был размножен император Франц Иосиф в обширной стране. Ему спас жизнь герой Сольферино. Герой Сольферино состарился и умер. Теперь его пожирали черви. И его сын, окружной начальник, отец Карла Йозефа, тоже старился. Скоро и его будут пожирать черви. Только император, один император, казалось, состарился однажды раз и навсегда в определенный день и час, и с того часа навеки остался закованным в свою ледяную и вечную, серебряную и ужасную старость, как в панцирь из вносящего благоговение кристалла. Годы не смели к нему подступиться. Все синее и жестче становился его взгляд. Даже милость его, простертая на семейство Тротта, была бременем из колющего льда. И Карлу Йозефу становилось холодно под синим взглядом своего императора.

Он не прослужил еще в полку и четырех месяцев. И вдруг оказалось, что император больше не нуждался в Тротта. Слишком долго царил мир. Смерть, как первая ступень обязательного продвижения по службе, была еще далека от юного лейтенанта кавалерии. Когда-нибудь ты сделаешься полковником и затем умрешь. А пока что приходится каждый вечер ходить в казино и смотреть на портрет императора. Чем больше лейтенант Тротта его разглядывал, тем дальше становился ему император.

– Посмотрите-ка, – просвистел голос лейтенанта Киндермана, – Тротта себе глаза проглядел, любуясь на старика!

Карл Йозеф улыбнулся Киндерману. Прапорщик Бернштейн, давно начавший партию в домино, уже собирался ее проигрывать. Он считал своим долгом проигрывать, играя с кадровыми офицерами. В гражданской жизни он всегда выигрывал и среди адвокатов даже слыл опасным партнером. Но, отбывая ежегодный поверочный сбор, он отказывался от своего превосходства и старался поглупеть.

– Этот проигрывает непрерывно, – обратился Киндерман к Тротта. Лейтенант Киндерман был убежден, что все штатские неполноценные существа. Даже в домино не умеют выигрывать.

Полковник все еще сидел в своем углу с ротмистром Тайтингером. Некоторые офицеры, скучая, прохаживались между столиками. Они не осмеливались покинуть казино, покуда играл полковник. Стенные часы каждые пятнадцать минут плакали медленно и отчетливо, их жалобная мелодия прерывала стук домино и шахмат. Временами кто-нибудь из ординарцев вытягивался в струнку, затем бежал в кухню и возвращался оттуда со стаканчиком коньяку на огромном до смешного подносе. Иногда слышался громкий смех, и, оглянувшись по направлению, откуда он шел, все видели четыре тесно сдвинутые головы и понимали, что там отпускают остроты. Ох уж эти остроты! Эти анекдоты, при которых все остальные сразу же замечали, что заставляет слушателей смеяться – угодливость или понимание! Эти анекдоты отличают своего от чужого. Кто их не понимает, тот не принадлежит к коренным военным. К ним не принадлежал и Карл Йозеф.

Он уже намеревался предложить новую партию втроем, когда дверь распахнулась и ординарец отдал честь, особенно громко стукнув ногой об ногу. Мгновенно все стихло. Полковник Ковач вскочил со своего места и воззрился на дверь. Вошел не кто иной, как полковой врач Демант. Он сам испугался волнения, которое вызвал. Остановился в дверях и заулыбался. Ординарец все еще стоял навтыжку рядом с ним и явно мешал ему. Демант махнул ему рукой. Но парень этого не заметил. На толстых стеклах докторских очков туманился легкий осадок осеннего ночного воздуха. Он привык снимать очки, для того чтобы протереть их, когда с холодного воздуха входил в тепло. Но здесь он на это не решался. Прошло некоторое время, прежде чем он сдвинулся с порога.

– Ах, глядите, ведь это доктор, – воскликнул полковник. Он кричал изо всех сил, словно стараясь перекрыть шум народного празднества. Он считал, этот добряк, что близорукие в то же время и глухи и что их очки становятся чище, когда лучше слышат уши. Голос полковника проложил себе дорогу. Офицеры отодвинулись. Те немногие, которые еще сидели за столиками, поднялись со своих мест. Полковой врач осторожно ставил одну ногу перед другой, словно ступая по льду. Стекла его очков, видимо, постепенно очищались. Приветствия неслись к нему со всех сторон. Он не без труда узнавал господ офицеров. Он наклонялся, чтобы читать на лицах, словно штудировал книги. Перед полковником Ковачем он наконец остановился с выпяченной грудью. То, как он откинул назад свою обычно склоненную голову и попытался резким движеньем вздернуть узкие, покатые плечи, выглядело странно-нарочито. За время длительного отпуска по болезни его почти забыли: его самого и его невоенный вид. Теперь его разглядывали не без удивления. Полковник поспешил положить конец неременному ритуалу приветствий. Он крикнул так, что задребезжали стаканы: «Он хорошо выглядит,

доктор!» – словно хотел сообщить об этом всей армии. Сердцем полковник был безусловно расположен к доктору, но, черт побери, гром и молния, малый этот был очень уж невоенным. Будь он только чуточку повоееннее, не надо было бы всегда так напрягаться, чтобы быть к нему расположенным. Могли бы, черт побери, направить в его полк и другого доктора. Ведь вечные битвы, которые происходили между нравом полковника и его солдатским вкусом из-за этого милого доктора, могли и утомить старого воина. «Этот доктор меня еще погубит!» – думал полковник при виде полкового врача верхом на коне. И в один прекрасный день даже попросил его – лучше уж не ездить по городу.

«Нужно сказать ему что-нибудь любезное», – взволнованно думал он. «Шницель был сегодня великолепен!» – в спешке осенило его. И он это произнес. Доктор улыбнулся. «Он улыбается совершенно по-штатски, этот тип!» – подумал полковник. И внезапно вспомнил, что среди них был еще один человек, незнакомый доктору. Тротта, конечно! Он вступил в полк, когда доктор ушел в отпуск. Полковник зашумел:

– Наш новичок, Тротта! Вы еще друг друга не знаете!

И Карл Йозеф приблизился к полковому врачу.

– Внук героя Сольферино? – спросил доктор Демант.

Никто бы не заподозрил в нем столь точного знания военной истории.

– Он все знает, наш доктор! – вскричал полковник. – Настоящий книжный червь!

И первый раз в жизни подозрительное слово «книжный червь» так отменно понравилось полковнику, что он еще раз повторил его: «книжный червь» – тем ласкающим тоном, каким обычно произносил только: «Настоящий улан!»

Все снова уселись, и вечер продолжался обычной чередой.

– Ваш дед, – сказал полковой врач, – был одним из замечательнейших людей в армии. Вы его еще знавали?

– Нет, я уже не знал его, – отвечал Карл Йозеф. – Его портрет висит у нас дома в кабинете отца. Когда я был маленьким, я часто его рассматривал. А его слуга, Жак, все еще у нас.

– Что это за портрет? – спросил полковой врач.

– Его писал один из друзей юности моего отца, – сказал Карл Йозеф. – Это удивительный портрет. Он висит довольно высоко. В детстве мне приходилось взбираться на стул, чтобы его рассмотреть.

Несколько секунд они молчали. Затем доктор сказал:

– Мой дед был шинкарем, евреем-шинкарем в Галиции. Слышали вы о Галиции? (Доктор Демант был евреем. Во всех анекдотах фигурировали полковые врачи-евреи. В кадетском корпусе тоже учились два еврея. Они потом поступили в пехоту.)

– К Рези, к тетке Рези, – вдруг крикнул кто-то.

И все повторили:

– К Рези! Идем к Рези!

– К тетке Рези!

Ничто не могло испугать Карла Йозефа больше, чем этот призыв. В течение недель, полный страха, он ждал его. Все подробности последнего посещения публичного дома фрау Хорват еще оставались у него в памяти. Все! Шампанское, которое, казалось, состояло из камфары и лимонада, рыхлое, мясистое тесто девушек, кричащая краснота и сумасшедшая желтизна обоев, запах мышей, кошек и ландышей в коридоре, потом изжога двенадцать часов подряд. Тогда не прошло еще и недели, как он вступил в полк, и это было его первое посещение борделя. «Любовные маневры!» – говаривал Тайтингер. Здесь он был вожакom. Это входило в обязанности офицера, с незапамятных времен заправлявшего клубом. Бледный и тощий, придерживая рукой саблю, длинными, осторожными и тихонько позвякивающими шагами ходил он от столика к столику по салону фрау Хорват, крадущийся заимодавец горьких радостей. Киндерман был близок к обмороку, слыша запах обнаженных женщин, – женский пол вызывал у него

тошноту. Майор Прохазка, стоя в уборной, честно старался засунуть толстый, короткий палец себе в рот. Шелковые юбки фрау Рези Хорват шуршали одновременно во всех углах дома. Ее большие черные глаза перекатывались без определенного направления и цели на широком, мучнистом лице; белые и крупные, как клавиши, блестели зубы ее вставной челюсти. Траутмансдорф из своего угла преследовал каждое ее движение малюсенькими, проворными зеленоватыми глазами. Наконец он встал и засунул руку в вырез платья фрау Хорват. Рука потянулась там, как белая мышь среди белых гор. А Полляк, тапер, сидел согнувшись, настоящий раб музыки, за черным отсвечивающим роялем, и на его руках, которые барабанили по клавишам, тихонько постукивали крахмальные манжеты; как охрипшие флейты, сопровождали они жестяные звуки рояля.

К тетке Рези! Идти к тетке Рези! Полковник внизу отстал от своих офицеров, пожелав им «всяческих удовольствий, господа», и на тихой улице двадцать голосов отозвались: «Почтение, господин полковник!» – и сорок шпор звякнули друг о дружку. Полковой врач доктор Демант сделал робкую попытку, в свою очередь, откланяться.

– Вам необходимо идти? – тихонько спросил он лейтенанта Тротта.

– По-видимому, да! – шепнул Карл Йозеф. И полковой врач, ни слова не говоря, к ним присоединился. Они были последними в беспорядочном ряду офицеров, с шумом шагавших по тихим, освещенным луной улицам городка. Они не разговаривали друг с другом. Оба чувствовали, что прошептанный вопрос и прошептанный ответ связывал их, – ничего нельзя было поделать. Оба откололись от всего полка. А знакомы были не больше получаса.

Внезапно и не зная почему Карл Йозеф сказал:

– Я любил женщину по имени Кати. Она умерла.

Полковой врач остановился и, всем корпусом повернувшись к лейтенанту, ответил:

– Вы еще будете любить других женщин!

И они пошли дальше.

С далекого вокзала доносились гудки ночных поездов, и полковой врач сказал:

– Я хотел бы уехать, далеко уехать!

Теперь они уже стояли у синего фонаря тетки Рези. Ротмистр Тайтингер постучал в запертую дверь. Кто-то открыл. Внутри тотчас же забренчал рояль; марш Радецкого. Офицеры направились в салон.

– Рассыпаться поодиночке! – скомандовал Тайтингер. Полуобнаженные девушки с шумом поднялись им навстречу, хлопотливая стая белых клуш.

– Бог помочь! – произнес Прохазка.

Траутмансдорф на этот раз медленно и еще стоя на ногах запустил руку за декольте фрау Хорват. И уже больше не отпускал ее. Ей нужно было следить за кухней и погребом, она явно страдала, принимая ласки обер-лейтенанта. Но гостеприимство призывало к жертвам. Она давала себя соблазнять. Лейтенант Киндерман побледнел. Он был блее пудры на плечах девушек. Майор Прохазка заказал содовую воду. Всякий, кто близко знал его, мог предсказать, что сегодня он будет сильно пьян. Водой он расчищал путь алкоголю – так чистят улицы перед торжественным въездом.

– И доктор тоже пришел? – громко осведомился он.

– Он должен изучать болезни у их источника, – с ученой серьезностью, бледный и тощий, как всегда, изрек ротмистр Тайтингер.

Монокль прапорщика Бернштейна уже торчал в глазу одной белокурой девицы. Он сидел рядом и мигал своими маленькими черными глазками, его темные, волосатые руки, подобно диковинным зверькам, ползали по телу барышни. Постепенно все расселись по своим местам. Между доктором и Карлом Йозефом, на красной софе, поместились две женщины, прямые, со сдвинутыми коленями, напуганные отчаянными лицами обоих мужчин. Когда появилось шампанское – строгая домоправительница в черной тафте торжественно внесла его, – фрау Хорват

решиительным движением вытащила руку обер-лейтенанта из своего декольте и положила на его черные рейтузы, словно из любви к порядку, – так кладут на место одолженную вещь, – и затем поднялась, властная и могучая. Она потушила люстру. Только в нишах остались гореть маленькие лампочки. В красноватом полумраке светились напудренные белые тела, поблескивали золотые звездочки, сверкали серебряные сабли. Одна пара за другой поднималась и исчезала. Прохазка, давно уже не отрывавшийся от коньяка, подошел к полковому врачу и сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.